

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Николай Николаевич Златовратский

Первые вестники освобождения

(Детские и юные годы. Воспоминания 1845-
1864 гг. #2)

Николай Николаевич Златовратский – один из выдающихся представителей литературного народничества, наиболее яркий художественный выразитель народнической романтики деревни.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0026
III.....	.0039
IV.....	.0053
V.....	.0075
VI.....	.0086
VII.....	.0099

**Николай Николаевич
Златовратский
Первые вестники
освобождения**

Наша молодежь в начале освободительного движения. – Старые и юные разведчики. – Дядя Александр.

Год моего «первого», так сказать, «духовного окрыления» с переходом в четвертый класс совпал с особенным оживлением в жизни нашей семьи.

По происхождению я, как уже выше сказано, принадлежал к разночинско-чиновничьему городскому классу, не имевшему непосредственного отношения к крепостному крестьянству, но благодаря близости моей семьи к сельскому духовенству, а также и службе моего отца в канцелярии дворянского собрания в нашей семье косвенно постоянно поддерживалась связь как с крестьянами, так и с помещиками.

Первое, что вспоминается мне из этой поры моего детства, – это личность нашей кухарки Дарьи, находившейся в каких-то своеобразных «крепостных» отношениях к нашей семье. Жила она у нас, повидимому, довольно

долго, вплоть до 19 февраля, и все это время она вспоминается мне в неизменном образе «девки-вековуши» средних лет, деловитой, расторопной, с некоторой долей самостоятельности в характере, соединенной с той «хитрецей», которая была в то время неизбежной для всякой «деловитой» мужицкой натуры.

Мой отец, как не принадлежащий к дворянскому званию, не мог иметь крепостных, но так как найти прислугу из некрепостных было нелегко, то и выработался в то время оригинальный обычай: чиновники не дворяне, духовенство, купцы обыкновенно выплачивали помещику за прислугу из крепостных известную сумму, как бы вроде своеобразного «выкупа», распределяемого на известное количество лет (мне почему-то запомнилась относительно Дарьи сумма в 300 рублей), в течение которых прислуга значилась «как бы» крепостной у нанявшего ее лица. Говорю «как бы» потому, что последний не пользовался над нею никакими юридическими помещичьими правами, не мог ни продавать ее, ни менять, ни производить каких-либо барских

экзекуций над нею.

Такой формой найма крепостные, повидимому, пользовались нередко для выкупа на волю.

Так обстояло дело и с нашей Дарьей. Но так как она совсем сжилась с нашей семьей и не чувствовала над собой никакого крепостного «ига», то она благополучно дожила у нас до 19 февраля. Эта-то Дарья и была вначале одной из посредниц, связывающих нашу семью с деревенским людом. Два ее брата были на оброке и ездили в нашем городе легковыми извозчиками. Отец часто ездил на них по делам, и они, привезя его домой, долго иногда оставались у нас на кухне чаевничать с Дарьей, которая, таким образом, всегда была в курсе «деревенских дел», чрезвычайно ее интересовавших.

Благодаря этому сравнительно довольно просторная кухня с большой русской печью, примыкавшая к нашему провинциальному домику, насколько я вспоминаю, всегда была пристанищем разного простого, бедного люда: то ночевали в ней приходявшие на богомолье в город богомолки и странницы, уми-

лявшие своими рассказами матушку и Дарью, то заходили с своими горестными «доку-ками» крепостные мужики и бабы, домогавшиеся при помощи Дарьи и отца доискаться у начальства «правое». Количество последних особенно заметно стало увеличиваться при первых слухах о воле. Потянулись из деревень «мирские люди», ходоки, тайно получавшие от «мира» поручение обо всем «разведать» доподлинно в городе, а в случае чего и двинуть какую-нибудь жалобу на вопиющую несправедливость по высшему начальству.

В качестве «разведчиков» от деревенского мира являлось немало и «сторонних» людей – поповых сыновей, дьячков и даже самих сельских батюшек, которые справлялись о «крестьянском деле», не меньше интересовались и тем, что не будет ли и для них чего-нибудь, какого-нибудь облегчения, что и их «тоже заедал» нередко барин, а еще того больше – консистория. Вообще чем больше росли слухи о крестьянском освобождении, тем больше являлось «разведчиков» из разнородного люда – чиновников, мещан, купцов, которые все больше укреплялись в мысли, что

не только для мужиков, но и для всех должно что-нибудь быть, «что без этого нельзя», что «правда» всем нужна, но эта «правда» понималась ими в крайне сложных, разнообразных и хаотических формах. Типы всех этих разведчиков и от деревенского мира и от других «сословий» были очень своеобразны, ярко отражая собою общее напряженно-выжидательное настроение. И это несмотря на то, что подмосковный губернский город, в котором жила моя семья, являлся исключительно административным центром, переполненным чиновничеством, в высших рангах по преимуществу дворянским, и был, можно сказать, насыщен бюрократически-крепостным духом, при котором всякого такого рода разведки и ходачества являлись очень рискованными и кончались большею частью очень печально.

Более ярко в моей отроческой памяти запечатлелось воспоминание именно о том общем напряженном настроении, которое особенно сильно начало сказываться по окончании Крымской войны. Конечно, это настроение могло отражаться на мне в то время

лишь в смутных впечатлениях, и только впоследствии оно обрисовалось для меня в ясных и последовательных проявлениях.

Прежде всего наиболее характерным симптомом нарождавшегося нового настроения являлась как-то сразу увеличившаяся «тяга» в высшие столичные учебные заведения среди нашей учащейся, семинарской и гимназической, молодежи, раньше в громадном большинстве обыкновенно оседавшей по окончании среднего курса на родных местах в качестве или писцов разного рода канцелярий, или городского и сельского клира. Дворянские дети большею частью уходили в специальные военно-учебные заведения или же, реже, в светские, вроде училища правоведения. Из разночинских семей больше всего шло в духовные академии и в редких случаях в университеты. Теперь процент жаждущих высшего образования стал возрастать с необыкновенной быстротой. Это были как бы своего рода новые разведчики, которых пробуждающиеся «низы» жизни усиленно начали высылать туда, к неведомым им доселе «верхам», чтобы хотя косвенно причаститься

тому, что зарождалось там, таинственное и волнующее.

Было изумительно и умирительно видеть, с каким напряженным упорством и какою-то мрачною храбростью стали вдруг готовиться все эти разночинные юнцы в неведомые сферы жизни за духовным освежением. Да и было отчего!.. Ведь сколько тревожных и нудных дней и ночей провели они вместе со своими присными, чтобы весь свой жалкий семейный скарб и «животишки» всеми мерами ухитриться «капитализировать» хотя бы в размере, достаточном на преодоление пути в сотни верст до Москвы при помощи обозных порожняков, а то и по образу пешего хождения, не говоря уже о жалком харче для пропитания в столице, по крайней мере в первые месяцы. Многим, конечно, известны яркие и трогательные примеры тогдашнего подобного паломничества хотя бы из биографий первых страстотерпцев-пионеров разночинской литературы, вроде Левитова. Биографии эти особенно характерны для того времени.

И вот эти-то юные разведчики, с первых же лет своего студенчества внося в «верхи»

новый строй мыслей и настроений, являлись в то время единственными и желанными вестниками в низы жизни о том таинственном, смутном и неведомом, что творилось где-то далеко, в недоступных сферах, наполняя то страхом, то надеждой смиренных, затравленных и запуганных обитателей глухих провинциальных и деревенских палестин. Эти же юные разведчики являлись и первыми непосредственными сеятелями в родную почву тех семян, из которых хотя нудно и с великими препонами, но упорно нарождался «новый» человек.

С каким глубоким, хотя и детским, чувством восторга, воспоминается мне, ожидали мы, малыши, летние каникулы в маленьких провинциальных домиках и их садиках, в городах или в селах, встречая там возвращавшихся из столиц своих дядей или старших братьев и их товарищей. Сколько в них было бодрого, жизнерадостного, юного, сколько несли они нам оживляющих, озаряющих и преображающих откровений, сколько перлов неведомой до того «свободной» мысли и поэзии неощутимо внедрялось в наши ребяче-

ские души!.. Быть может, было в этом настроении чересчур наивно-детского, но оно было именно таково, и для тех, кого оно коснулось, уже не могло пройти совсем бесследно.

Увлеченный, с одной стороны, спортом ребячьей улицы, с другой – зубрежкой и школярской борьбой с гимназической «системой», я как-то совсем пропустил мимо глаз все то, что совершалось в жизни моих дядей: как они покончили богословские классы, как долго решали и обсуждали коренной вопрос своей молодой жизни – изменить профессии своего рода, выписаться в «светское» звание, навсегда порвав с «духовным ведомством», и, наконец, поступить в студенты в университет, поехать в Москву, в Петербург... Эти важные вопросы, конечно, не раз горячо и всесторонне обсуждались как у нас в доме, так и в семьях обоих дедов, – но все это прошло мимо меня, как в тумане. В моей памяти как-то удержалась только одна характерная подробность – как живший у нас сумрачный дядя Сергей готовился к требовавшемуся для поступления в университет экзамену по французскому языку: он в течение месяца бук-

важно *вызубрил* от А до Z весь довольно объемистый лексикон, который был приложен к хрестоматии Марго. Этот великий подвиг изумил не только меня, но и всех окружающих. Мой старший дядя, Александр (по отцу), уже раньше покончил семинарию и поступил студентом в Петербург, в Педагогический институт, и приезжал только на каникулы, а дядя Сергей всего только год тому назад сделался студентом-медиком в Москве. Многие из их одноклассников по семинарии, жившие у нас в доме нахлебниками или бывшие даже моими репетиторами, тоже поделались студентами. Я, конечно, все это знал, но знал как-то внешне, безучастно, и только теперь вдруг все это начало принимать для меня особый смысл, осветилось особым значением. Ни этот смысл, ни это значение я не мог бы еще точно формулировать, но я почувствовал, что они, вся эта студенческая молодежь, живут уже какой-то иной жизнью и иными интересами, чем жило все кругом меня и чем они жили раньше сами. Любопытно, что первое, что возбудило во мне неожиданно для меня самого какой-то особый интерес к тому, что

преображало окружающую меня жизнь, был забавный на первый взгляд факт – появление у нас в доме дяди Александра в белой накрахмаленной блузе, подпоясанной кожаным ремнем, вместо обычного студенческого вицмундира, и – что еще было неожиданнее – дядя в этом костюме стал появляться всюду: и на бульваре и во всех общественных местах, к изумлению наших провинциальных обывателей! Прошло еще немало времени, прежде чем я уразумел, что эта невиданная в наших местах и резавшая всем глаза своею яркой белизной и необычностью блуза была не простым франтовством дяди, а имела некоторый таинственный символический смысл. Открылся он для меня в один из знаменательных вечеров, который особенно ярко запечатлелся в моей памяти. Почему-то к этому вечеру особенно готовились (может быть, по случаю приезда «столичной» молодежи). Матушка одела свое праздничное платье, наши маленькие столовая, зальца и гостиная, обыкновенно обретавшиеся в большом беспорядке благодаря нам, детям, приняли тоже праздничный вид: были постланы везде новые сал-

фетки и поставлены на столы по паре «калетовских» (стеариновых) свечей в больших бронзовых подсвечниках, что считалось тогда еще большою роскошью. Батюшка сегодня, кажется, совсем не снимал сюртука. Все это возбудило во мне такой интерес, перед которым окончательно стушевались все прелести уличного спорта, и я предпочел остаться дома. К вечернему чаю стала собираться приезжая студенческая молодежь – сначала товарищи дяди Сергея, остановившегося пока у нас, затем явился очень оживленный блондин в черном сюртуке, в летах моего отца, некто Николай Яковлевич Д.; я знал, что он преподавал в семинарии французский язык и сельское хозяйство и считался «очень образованным» человеком, так как кончил курс не в знакомой более или менее всем какой-нибудь духовной академии, а в Горыгорецком агрономическом институте (не все были в силах даже и выговорить правильно такое название!); с ним пришла и его супруга, необычайно шикарно разодетая, с аристократическими манерами дама, умевшая говорить по-французски. (Сам агроном был сын сельского дьяч-

ка, а супруга его была дворянского происхождения.) Все это я знал раньше, хотя Д. вообще посещали нас еще не часто. Визит их придавал нашему вечеру еще более незаурядный интерес. Пришли затем еще несколько близких знакомых отца и два «профессора» семинарии, считавшиеся дальними родственниками. Начали разносить чай, когда явился, наконец, по обыкновению с добродушной улыбкой, с мягкими изящно-простыми непринужденными манерами, дядя Александр, общий любимец и моего отца, и матери, и нас, детей, – явился в своей необычайной сверкающей белизною блузе, со свертком книг в руках.

– А! вот и вы! – крикнули гости чуть не все разом, окидывая взором его оригинальный костюм.

– В «дух времени» облеклись? – заметил один из профессоров.

– Нужно бы, батенька, по-нашему уж, по-русски, по-крестьянски... Дело теперь крестьянское наступает!.. – сказал, улыбаясь, агроном.

– Ну, пусть уж в красных рубахах да плисо-

вых поддевах ваши славянофилы московские ходят... А мы-с петербургские увриеры!.. – говорил, смеясь и радушно пожимая всем руки, дядя. Поострив еще насчет костюмов «в духе времени», гости стали поздравлять дядю с окончанием курса и с тем, что он уже стал теперь «форменный педагог». Это последнее обстоятельство меня окончательно заинтриговало: дядя Александр, этот милый, добрый, ласковый дядя, вдруг стал «форменный педагог»! А тут еще эта блуза! Поистине изумительное преобразование совершилось предо мною воочию.

– Ну, показывайте, что привезли новенького, животрепещущего, так сказать!.. Давно мы вас в нашем захолустье ждем... Вы никогда ведь с пустыми руками не являлись, – тотчас же пристал к дяде Александру всегда нервный и возбужденный Д., стараясь взять у него из рук сверток.

– Есть, есть!.. – загадочно говорил дядя, развязывая сверток. – Трудненько досталось, господа... Надо беречь, как зеницу ока... Ну-с, господа, что ж, пойдемте все в гостиную, за один стол, там порассмотрим и кое-что, может,

прочитаем...

– Вот и ты здесь? – вдруг заметил меня дядя внимательно рассматривавшим его блузу. – Это хорошо... Пора тебе уже перестать только змеи пускать да по улицам бегать... Посмотри-ка, какой ты молодец!.. Пора уж тебе послушать, что и старшие говорят... Вот тогда и тебе такую же блузу сошьют!.. А? Хочешь?.. Ну, только... надо, брат, для этого поучиться... вот эти книжки уметь читать, – говорил он полушутливо, похлопывая меня по плечу и показывая на сверток. – Ну, пойдем, садись с нами, не дичись, – прибавил он, обнимая меня и увлекая с собой в гостиную, где уже собралась вся компания. – Ну-с, господа, вот вам и последние петербургские новости, – говорил дядя, развертывая сверток. – Вот вам несколько номеров «Колокола», самые животрепещущие.

– Покажите, покажите! Где они? – закричал ученый агроном Д., едва не вырывая газету из рук. Я видел, как глаза профессора вдруг засверкали и жадно впились в печатные строки. Пораженный, я не мог отвести от него широко открытых глаз. Неужели какие-либо

печатные строки могли быть так интересны, да еще для солидного, почтенного человека, у которого дрожат даже руки от прикосновения к простому газетному листу?!

– А это вот, Николай Яковлевич, мы уж с вами как-нибудь вместе на досуге сначала почитаем... У нас, в России, как знаете, это редкая вещь, – говорил дядя, показывая агроному томики на французском языке сочинений Руссо.[1]

– Великолепно!.. Превосходно!.. – похваливал Д. восторженно, прочитывая заголовки.

– А вот это, господа, – говорил дядя, понизив голос, – секретные записки о негласных совещаниях комитета... об эмансипации! – прибавил он, особенно выразительно выговаривая последнее слово.

– Где? где? Это? Секретные записки? – закричал Д., моментально вскочив и хватая рукопись из рук дяди. – Ну, уж это я... к себе... до завтра... Никому не дам вперед! Ни-и-ко-ому!.. Хоть разорвите!

Гости весело смеялись над экспансивным агрономом.

– Ну, ну! – улыбаясь, говорил дядя. – Усту-

пим это ему. Ему и книги в руки. Ведь у вас Николай Яковлевич главный здесь эмансипатор и литератор.

Изумлению моему не предвиделось конца; я не знал, чему больше удивляться: поведению ли солидного профессора, который на моих глазах уже несколько раз бесновался, как помешанный, необычайному ли потоку новых слов и названий, которые для меня в это время представлялись верхом человеческой премудрости.

— А вот это, господа, для всех нас будет очень интересно и занимательно, — говорил дядя, — это прекрасная новинка... только что вышла... Стихотворения Некрасова... Это одна прелесть!.. Свежо... ново... оригинально... Да вот... прочтемте.

И дядя, развернув небольшой томик в розовой обертке, прочел вслух несколько стихотворений.

Это были первые звуки «истинной» поэзии, которые коснулись моего слуха... Я был весь внимание... Что-то, казалось, творилось неведомое в моей голове... Мне было и жутко и стыдно; у меня то замирало сердце, то вдруг

кровь заливала все лицо... от стыда!.. Да, от стыда... Мне было стыдно сознавать, что стихи можно читать и понимать просто, «по-человечески»... А ведь до сих пор я думал, что их можно только зубрить, ничего не понимая, как я зубрил отрывки разных од, идиллий и посланий из нашей хрестоматии... Дядя продолжал читать дальше, но я уже ловил только гармонию стиха, которая ласкала мой слух как нечто не изведенное и не испытанное мною доселе, совсем не в силах будучи уловить ее смысл. Но мне уже не было стыдно и обидно: я чувствовал, что если я не понимаю сейчас, то не потому, что для меня вообще это «невозможно понять», что, напротив, я непременно все это пойму после... скоро... да, непременно пойму!..

Затем дядя стал читать «Колокол», из которого я уже, конечно, ровно ничего не понимал... Какие-то новые звуки, новые слова, новые понятия шумным каскадом вливались мне в душу, и я слушал их, как музыку, смысл которой был для меня непонятен, неясен, но приятен... приятен смутным сознанием, что и это, такое на первый раз мудреное как будто,

я тоже скоро... буду понимать и читать также, как дядя Александр, потому что ведь все это делается так просто, «не по-гимназически», по-человечески... Однако «прием» первых необычных впечатлений был настолько велик и непосилен для моего мозга, что я скоро почувствовал, как от этой музыки новых слов и понятий у меня начала кружиться голова, и у меня явилось непреодолимое желание излить хоть частицу этих впечатлений другим; я ускользнул из нашей гостиной и бросился «на улицу» к своим сверстникам. Как ни был я полон новыми впечатлениями, но передать понятно их товарищам я – увы! – был решительно не в состоянии, кроме сообщения, что в Петербурге все студенты теперь ходят, как французские рабочие, в белых блузах и носят с собой «запрещенные» книги. Я чувствовал, что этого было недостаточно и был внутренне сконфужен, что не мог передать, чем смутно была переполнена моя юная душа. Заметив, что гости от нас стали расходиться, я стремительно бросился домой и, еще застав дядю Александра, настойчиво пристал к нему показать мне все книжки. Ведь я

никогда еще не видал «настоящие» книжки!.. Меня в них все интересовало: печать, бумага, формат, обертки... Все это было так не похоже на гимназический учебник!.. Обо всем этом я засыпал дядю вопросами – вплоть до того, как эти книги и кем печатаются и пишутся. Дядя наскоро отделялся от меня беглыми замечаниями, утешая, что «после... после я все узнаю, а теперь все равно не пойму», но я все же узнал в этот знаменательный вечер и крепко запомнил, что есть писатель «Искандер», который живет изгнанником в Лондоне и там печатает запрещенную газету «Колокол», в которой он все пишет об «эмансипации»; что во Франции был писатель Руссо, который «освободил весь французский народ»; что появился у нас новый замечательный поэт Некрасов, который все пишет о крестьянах и вообще о бедных людях... О, этого на первый раз было уже более чем достаточно, чтобы удовлетворить любознательность мою и моих товарищей, для которых уличьяш спорт далеко еще не потерял всей своей прелести! Этого было достаточно и для того, чтобы я все чаще стал изменять спорту ребячьей улицы,

стараясь возможно чаще быть в компании съехавшейся студенческой молодежи, все больше интересовавшей меня новыми, неизвестными мне сторонами жизни.

В вишневом саду у деда. – Первые писательские легенды. – На лоне крепостной деревни.

В начале лета этого года и вишневый сад моего деда вдруг в моих глазах приобрел особое значение; никогда еще раньше не собиралось в нем сразу такое шумное, оживленное и интересное для меня общество молодежи, как в этот год; приехали на каникулы не только мои дяди, но и многие из их товарищей по семинарии, – и неожиданно явились в моих глазах поистине «преображенными».

Добродушный дед, крайне общительный человек и большой любитель всяких «романтических компаний», устроил грандиозную «поздравку» в честь двоих своих сыновей: дяди Александра, только что окончившего курс в Петербургском педагогическом институте, и младшего, Андрея, недавно женившегося и посвященного в сельские священники.

Собралась главным образом молодежь – студенты, молодые священники и великовоз-

растные семинары из родственников, кроме, конечно, родных обеих семей.

Молодежь чувствовала себя в необыкновенно повышенном настроении. В густой зелени старинных яблонь и вишен дедушкина сада, расположенного на громадном откосе «архиерейской горы», вдали от скученных городских построек, с широким видом на реку, пойму и огромный старинный величественный собор вдали на противоположной горе, чувствовалось так свободно и непринужденно, без всяких условностей. Здесь велись почти весь день горячие споры, читались какие-то статьи, без конца пелись песни...

В спорах я не понимал ровно ничего, но песни мне нравились и увлекали меня: пелись тут и «старые» народные и семинарские песни, пелись и новые, не знакомые мне. Между прочим, помнится мне, кажется, именно здесь я Епервые услышал, как пели некрасозское: «Не гулял с кистенем»; впервые же здесь увидел я переходившую все время из рук в руки книжку стихотворений лондонского издания, не дозволенных в России, пользовавшуюся в то время большой попу-

лярностью, многие из стихотворений здесь читались вслух; особенно часто повторялась популярная тогда басня «Шарманка». Я, конечно, во всем этом понимал очень мало, но общее повышенное настроение захватывало и меня. Вспоминается мне такой эпизод этого вечера. Когда все сгрудились на самой широкой площадке сада, где велись горячие споры, кто-то громко выкрикнул какой-то тост общего характера; тост был восторженно подхвачен единодушными криками. Тогда дядя Александр, всегда необыкновенно быстро воодушевлявшийся, заметив кого-то из нас, малышей, крикнул:

– Ну, хочешь видеть Москву, малец? Хочешь?

И, схватив его подмышки, он быстро посадил к себе на плечо.

– Ну, смотри!.. Видишь Москву?.. Да что – Москву... Русь! Видишь ли нашу Русь, Русь будущую, великую, могучую, свободную?! – кричал он, махая свободной рукой...

И снова восторженный крик подхватил его слова.

Но что придавало у нас этому настроению

в то время, особенно вскоре после Крымской войны, своеобразный, как-то невольно вдохновлявший и поддерживавший его особый смысл, – это легенды, которые были связаны с тремя крупнейшими нашими литературными именами, сначала Герцена и Салтыкова, а затем вскоре и Добролюбова.

Герцен, как известно, сосланный в тридцать пятом году в Вятку, через два года, в качестве такого же ссыльного, был переведен во Владимир, здесь поступил на службу в канцелярию губернатора Куруты, где и пробыл три года. Был он тогда только еще начинающий писатель, совершенно никому еще не известный, и, вероятно, так бы он надолго бесследно и исчез для нашего обывателя, если бы не случилось выходящего из ряда вон обстоятельства – его женитьбы в нашем городе на увезенной им потихоньку из родительского дома в Москве двоюродной сестре, вопреки желанию отца. Совершение этой свадьбы было окутано большой тайной, и могла она состояться лишь при особом снисхождении местного архиерея и при влиянии на него губернатора: архиереем было приказано «сек-

ретно» одному из священников повенчать Герцена как можно скрытнее в отдаленной слободской церкви, на окраине, без малейшего шума, придав этому вид, как будто священник действует на свой страх и риск. В нашей семье я слышал, будто при венчании участвовал и мой дед, молодой еще тогда дьякон, и тоже по секретному архиерейскому наказу. Действительно ли это было так, утверждать не могу, так как дед, быть может под страхом наказания, никогда об этом деле не любил распространяться и вообще умалчивал. Но начало легенде уже было положено, и она в течение многих лет в смутном виде циркулировала среди обывателей.

Возможно, что в течение полутора десятка лет, прожитых с тех пор нашей глухой провинцией в сугубом духовном мраке, и совсем растаяла бы легенда о каком-то ссыльном чиновнике и его таинственной свадьбе, если бы в конце 50-х годов наши, юные столичные разведчики не появились в первые же каникулы с целым ворохом каких-то самых жгучих и животрепещущих таинственных книг, газет и рукописных копий, из которых боль-

шая часть была написана нашим легендарным ссыльным. И вдруг легенда о нем стала воскресать во всех бывших и даже не бывших подробностях. «Так вон он каков, *наш-то* ссыльный... Ну не даром, значит, по Ссылкам-то гоняли!.. Был раньше-то Герцен, а тут вдруг Искандером обернулся... Кто ж его узнал бы, что это *наш!*» – восклицали наши наивные обыватели из низов не только светского, но и духовного звания, особенно из молодых. И потихоньку, под сурдинку, с боязливо-трепетным любопытством погружались в гущу своих садов, в захватывающие страницы «Колокола», разных прокламаций, вроде «К русскому дворянству», «Юрьев день», запрещенных книжек стихотворений лондонского издания, которые приписывались все Искандеру, наконец – в старые книжки «Отечественных записок» со статьями Белинского и Герцена.

Подросла тут и свежая легенда о Салтыкове, который незадолго был прислан в наш город от министра для ревизии дел по организации местного ополчения и который так встревожил весь наш чиновный мир. «Это,

брат, серьезный был человек вполне... О, какой серьезный!... Таких мы не видывали у нас... Да, гляди того, сам министром будет!» – говорили про него напуганные чинуши. И вдруг этот самый будущий министр, к великому изумлению всех, обернулся «надворным советником Щедриным» и все, что видел по ревизиям, то начистоту перед всеми и выкладывает!.. «Ну, кто ж догадается, что это он самый – то *наш* и есть!.. Вот как чисто ведет дело – никому и виду не подаст. Ну, и башка!..» – восклицали «низы» и бросались отыскивать «Губернские очерки», пускались на всякие средства, чтобы проскользнуть в зал дворянского собрания на литературно-музыкальный вечер, на котором должны были читаться сатиры «нашего Щедрина».

Местная легенда, таким образом, придавала свой специфический смысл и окраску «нашим» писателям, ставила нас к ним в особое, интимное, отношение сравнительно со всеми другими, «не нашими», писателями.

Добролюбовская легенда создавалась уже значительно позже.

Так все яснее и яснее стал доходить до на-

шей провинции гул освободительного движения.

С окончанием экзаменов в семинарии (а они тогда кончались довольно поздно, около половины июля) вся молодежь, которая ютилась около нас (и студенты и семинаристы – их родственники), стала собираться в родные захолустные Палестины, по уездным городкам и селам. Лето в тот год стояло на редкость прекрасное, и деревенское приволье как-то невольно тянуло к себе. И вот я услышал радостную для себя весть, что матушка со всеми нами, детьми, в сопровождении обоих дядей решила на лето ехать к своим родным в-ский уезд, так как предстояла свадьба ее младшей сестры. Как я уже упоминал раньше, поездки наши в глушь провинции, к деду (по матушке) и к деревенским родственникам, верст за сто, на ямских лошадях, всегда приносили мне огромное удовольствие, доставляя массу совершенно новых впечатлений и оставляя на моей душе глубокий след. Нынешнее наше путешествие в сообществе обоих дядей, так весело и оживленно настроенных, представлялось мне особенно привлекательным. Ко-

гда мы одним чудным ранним утром, омытым благоухающей росой, выехали на двух тройках, запряженных в громаднейшие тарантасы, за город, когда были развязаны колокольчики под дугами и раздался их веселый переливчатый звон, когда раскинулась перед глазами широкая перспектива шоссеиной дороги, обсаженной кое-где рядами деревьев, – моему восторгу не было конца. Дядя Александр, всегда необыкновенно отзывчивый, мягкий и радушный, теперь, кажется, превзошел самого себя, ухаживая за моими младшими братьями и сестрами, насаженными в оба тарантаса, как цыплята в корзине. Он шутил с нами, напевал песни, весело беседовал с ямщиками и крестьянами на почтовых станциях, которые, кажется, особенно внимательно, хотя и боязливо, прислушивались к вестям «о воле» этого заезжего барина, которыми он мимоходом и наскоро делился с ними. Благодаря такому настроению дяди Александра мы и не заметили, как весело проехали сто верст. Матушка не знала, чем и выразить свои симпатии к своему любимому деверю. Даже обыкновенно хмурый, необщи-

тельный и малоподвижной дядя Сергей, напоминавший тип сумрачного бурсака, и тот был необычно весел и оживлен, быть может отчасти благодаря своему новому студенческому вицмундиру. Это же оживленно-веселое настроение дядя Александр продолжал поддерживать и в семье моего деда, несмотря на его благочинническую сановитость и сугубо домостроевский уклад в его доме. Этому, впрочем, много помогло вообще необычно большое скопление в нынешние каникулы студенческой – университетской и академической – молодежи, которая в духовных семьях с каждым годом увеличивалась все больше и которая значительно изменяла общий характер сложившейся в них жизни. Однако, когда, отпраздновав свадьбу тетки по всем традиционным ритуалам, молодежь, захватив меня с собою, двинулась на Оку, в приокские села, к родственникам молодых, это повышенное настроение скоро значительно потускнело. Чувствовалось, что оно далеко не соответствовало общей окружающей атмосфере. Крестьянская страда, да притом еще крепостная, была в полном разгаре. Робкие и

забитые сельские батюшки встречали столичную молодежь сдержанно и боязливо, а о разных столичных вестях шушукались втихомолку. С еще более недоверчиво-боязливым отношением прислушивались к разговорам молодежи крестьяне. Чувствовалась непосредственная близость помещичьих усадеб, в которых еще царило полное крепостное самовластие. Эту перемену повышенного настроения заметил даже я, для которого всякий приезд в деревню раньше представлял только ряд всевозможных ребячьих удовольствий. Мы и теперь, конечно, спешили ими воспользоваться вволю: катались на лодках, ловили рыбу, варили на берегу стерляжью уху, охотились по озерам, даже пели, но все это было уже не то. И для меня впервые, хотя смутно, начало открываться нечто новое и важное, что скрывалось под прелестями деревенской природы. И это «нечто» незаметно как-то вскрыл для меня тот же дядя Александр, который благодаря своей крайне отзывчивой и впечатлительной натуре часто менял свое настроение; после бодрого и веселого подъема духа он иногда быстро впадал в меланхолию,

начинал грустить и даже плакать. Теперь, когда мы на большой лодке плыли тихо по Оке целой компанией, дядя Александр все чаще запевал грустные песни, вроде «Лучинушки» 17, или читал нам некрасовские стихи, но на самые мрачные темы. В тон этим песням велись здесь и разговоры; местная молодежь рассказывала, как за вести «о воле» кого-то выдрали на конюшне, кого-то сослали в дальнюю деревню, кого-то даже арестовали, а одного дьякона услали на послушание в монастырь... Я плохо еще разбирался во всем этом, но общее настроение невольно захватывало и меня; передо мною понемногу начинала подниматься завеса над настоящей жизнью; в ответ на новые впечатления вспыхивали старые, полузабытые; вспоминался наш маленький домик в городе и кухня, в которой мы с матушкой так любили слушать рассказы «странных людей», припоминались их вздохи и слезы над чем-то для меня не понятным... Все это складывалось в моей душе в новые комбинации, освещалось, хотя и смутно сознаваемым, но новым настроением.

В этом уже несколько подавленном на-

строении мы с дядей Александром, заехав за матушкой с детьми к деду, двинулись в конце июля обратно в наш город. По приезде домой нас ожидал целый ряд чрезвычайно важных для всех нас известий.

Отец и Николай Яковлевич Д. на первых порах эмансипаторской миссии. – Последние вспышки крепостнического самовластия. – Дядя Александр похищает меня.

Этому году суждено было вообще сделаться для меня источником разнообразных и неожиданных откровений. Первое, что сообщил отец по нашем приезде, было полученное известие из округа о назначении дяди Александра учителем словесности в гимназию одного из соседних губернских городов. Дядя, повидимому, был очень обрадован, сказав, что лучшего пока он не желает, что о гимназии этой он много слышал хорошего, что там уже служат несколько прекрасных молодых учителей, которых он хорошо знал еще в Петербурге студентами.

Затем батюшка сообщил «чрезвычайно важную новость», что его самого губернский предводитель предполагает назначить при себе секретарем с специальной задачей – сле-

дить за ходом как правительственных работ по освобождению крестьян, так и депутатов дворянского собрания в губернском комитете и затем на основании их составить докладную записку по освобождению, что, таким образом, ему предстоит новое, чрезвычайно большое и ответственное дело, а между тем ему приходится уже теперь «кипеть, как в котле», не зная отдыха, и что он с большим страхом смотрит на это предстоящее дело. Говоря об этом, батюшка, видимо, волновался. Волновалась, глядя на него, и матушка, присутствовавшая тут же, и больше, кажется, чутьем угадывая, что волновало и страшило отца.

– Так вот какие дела! Ну что ж, друзья мои, решаться, что ли? – спросил отец матушку и дядю.

– Конечно, крестный (так звал дядя моего отца). Такое хорошее, большое дело! – с обычным воодушевлением сказал он.

Матушка, не отвечая, сначала взглянула благоговейно на образ, опустилась на колени и сделала несколько земных поклонов, как она обыкновенно делала при всех важных ре-

шениях.

– Решайся, милый друг, решайся! – сказала она, поднявшись и кладя руку на плечо отца. – Дело душевное, говорят, хорошее дело, Божье... Вот и братец тоже советует...

– Да, конечно! Ведь вы не одни, крестный, будете... Вы сами знаете, что из здешних дворян есть немало хороших людей, сочувствующих.

– Да, верно, есть, – сказал раздумчиво отец.

Во всем этом разговоре я, понятно, понимал далеко не все, но и меня волновало смутное предчувствие каких-то новых, откровений, которые начинала раскрывать передо мною жизнь вообще и в частности нашей семьи.

Служба моего отца, насколько я запомню, вообще представляла довольно живую и разностороннюю деятельность в единственно возможных для него в то время общественных формах. Я его всегда вспоминаю в то время или погруженным в хлопоты и заботы по исполнению разных поручений предводителя и депутатов, соединенных с нередкими поездками (еще на лошадях) в Москву и уезды,

куда он иногда брал и меня, или же сочиняющим бесконечные доклады по разнообразным вопросам. По поводу последних он обыкновенно всегда совещался с братьями и приятелями, вроде Николая Яковлевича, нередко также с молодыми образованными дворянами, жившими в городе. Благодаря этому в нашем маленьком зальце часто собирались небольшие компании, на которых велись оживленные беседы. Такие же компании местной «интеллигенции» (слово тогда еще, впрочем, непопулярное) собирались и у Николая Яковлевича (где впоследствии удаивался бывать и я), слава которого как «эмансипатора» гремела тогда по всему городу, тем более что он был уже известен как «литератор». Особенно заговорили о нем, с тех пор как новый «либеральный» губернатор, из статских («не солдафон», как говорили про него), пригласил его к себе и уговорил занять место секретаря при губернском комитете по крестьянскому делу, как видного в губернии специалиста по экономическим вопросам. Это еще более подняло значение наших компаний, оживление которых росло все больше,

вместе с усилением в обществе освободительного движения.

Для меня остался памятным один характерный факт, подавший повод к особенно оживленным разговорам в наших компаниях. Произошло это, кажется, вскоре по приезде нашем из деревни. Было воскресенье. Я с матушкой был в кухне, когда вдруг вбежала, возвращаясь с базара, запыхавшаяся и взволнованная наша кухарка.

– Матушка барыня! – вскрикивала она сквозь слезы. – Гонют их, гонют, голубчиков моих... Тыщи гонют.

– Да кого гонят-то? – спрашивает матушка.

– Да мужиков-то, что я вам вчера докладывала... Матушка моя! тыщи гонют... кандальными... Дела-то какие, дела-то! Что уж это? Последние времена пришли! – причитала Дарья.

– Вот, гляди, скорехонько погонют мимо нас, по большаку, прямехонько...

– Ну, так скорее надо торопиться! – заволновалась и матушка. – Чего плакать-то? Собирай скорее что есть в корзины. Кликни няньку, да с нею на дорогу корзины-то и вынеси-

те... Эх, бедные, бедные! – всхлипнула и матушка. Дарья сорвалась с места и начала метаться из стороны в сторону, собирая из съедобного и из одежды что попало. Сорвался и я, бросившись на улицу собирать соседей-товарищей смотреть «кандальников». Долго еще нам пришлось ждать, пока показалась печальная процессия. Толпа запрудила все улицы и надвигалась на нас, как громадная волна. Не знаю почему, все время, пока проходил мимо меня громадный этап, я дрожал, как в лихорадке, у меня тряслись ноги и дрожали губы, а глаза были полны слез, хотя я вряд ли в ту минуту понимал ясно весь потрясающий смысл того, что совершалось. А совершалось глубоко возмутительное, даже по тому времени, дело: громадная деревня, в несколько сот душ, ссылалась этапом в Сибирь на поселение, без следствия и суда, неизвестно за какие провинности, по единоличному распоряжению богатого помещика. И это происходило в последние, можно сказать, дни перед освобождением крестьян!

Этот факт, очевидно, возмутил даже наш, косневший в чиновничье-дворянской рутине,

город, так как после прохода этапа долго еще раздавались негодующие разговоры среди не расхोдившихся кучек обывателей. Событие это обсуждалось и в наших компаниях очень горячо и долго. Особенно волновался Николай Яковлевич, который кричал почти, что это дело вопиющее, что оставить его так невозможно, что он завтра же будет говорить с губернатором, что надо немедленно об этом донести министру и в сенат и потребовать предания суду помещика. Молодые дворяне говорили отцу, что надо потребовать от председателя, чтобы он собрал экстренное собрание дворянских депутатов и предложил на обсуждение вопрос о лишении этого помещика дворянских прав, как совершившего деяние, противное намерениям правительства и дворянской чести.

Волновались и вели серьезные разговоры и довольно открыто, как никогда раньше, не только у нас. Судя по рассказам отца и дядей, этот случай долго еще обсуждался всеми видными представителями как администрации, так и общества, как-то сразу поставив вопрос об освобождении крестьян и вместе с тем о

«водворении законности», как тогда говорили, на открытое обсуждение, о чем раньше могли говорить только в близких компаниях, да и то осторожно, полупонамеками и втихомолку. Практические мероприятия, однако, по этому делу хотя и осуществились, но очень не скоро и в очень скромной форме: помещик действительно был к чему-то присужден, но был ли лишен дворянского звания – не знаю, вернее, что не был. Помнится, что и мужиков вернули на родину, но не раньше, как они прогулялись пешком в Сибирь, и неизвестно, все ли они вернулись домой целы и невредимы.

События в нашей семейной жизни между тем продолжали поражать меня неожиданно-стями. Дядя Александр спешно готовился к отъезду на место, чтобы успеть заранее познакомиться с условиями своей новой деятельности. Как-то он, особенно чем-то озабоченный, зашел вечером к нам.

– Вот и ты дома! – сказал он, встретив меня в кабинетике и ласково потрепав по плечу. – Погоди, не уходи... Мне нужно поговорить. Крестный, сестрица! – крикнул он. – Зайди-

те-ка в кабинет. Мне нужно кое о чем поговорить.

– Знаю, знаю, братец! – заволновалась матушка. – Насчет того, чтобы Николеньку с вами отпустить в новую гимназию. Да ведь он еще совсем ребенок! Да что это вы, братец, придумали? Да с чего это? Ах, братец, как это вы материнского сердца понять не хотите...

Матушка все больше волновалась и протестовала.

– Сестрица, вы не волнуйтесь, – ласково и мягко заговорил дядя. – Подумайте, взвесьте все хладнокровно. – Надо взвесить будущее. Признаюсь вам, я боюсь за его судьбу в здешней гимназии. Хороший, умный, способный мальчик сидит три года в одном классе, теряя лучшие годы. Что же с ним будет, если и дальше так продолжится? Страшно сказать...

Дядя говорил долго, горячо и убедительно: указывал и на то, что я остаюсь совсем без помощи, что у отца дела по горло, что у нее самой масса хлопот с маленькими детьми, а между тем он, дядя, как один, мог бы всего себя отдать моему воспитанию.

Отец молчал, повидимому во всем согла-

шаясь с дядей; матушка тихо плакала, но в то же время не без основания возражала, что какое же может быть воспитание ребенка у одинокого молодого человека, который еще и сам не знает, как устроится в жизни.

– Ну-с, хорошо... Оставим об этом говорить теперь, – сказал дядя. – Я вот поеду сначала один, осмотрюсь там, все узнаю, устроюсь и тогда уже напишу вам подробно свое мнение, взвесив все условия. Ну, а ты как насчет этого? – неожиданно спросил меня Дядя.

Увы, застигнутый врасплох, я только пыхтел, краснел и бледнел и не мог выговорить в смущении ни слова; в глубине моей души шла борьба: мне так хотелось броситься к этому чему-то новому, свежему, неизведанному, где все будет так не похоже на заплесневевшую и опостылевшую нашу гимназию, и в то же время мне было страшно вдруг оторваться от отца, матери, братьев и сестер, от своей ребячьей улицы.

– Ну, так как же? – переспросил дядя.

– Не знаю, – едва прошептал я, красный, как кумач.

– И, конечно, так: как можешь ты решить

то, в чем и старшие не могут разобраться?..

– Да, это верно, – подтвердил и отец. – А все же это вопрос важный, и его нужно как-нибудь решить... А у меня дела по горло... Вот! – сказал он, подвигая к дяде бумагу.

– Разрешение на библиотеку? – крикнул радостно дядя. – Получили?

– Как видишь... Но что же я буду делать... один? Все вы разъезжаетесь...

– Это ничего... Мы все вам будем полезны и оттуда... Мы уже наметили вам все нужные книги по современной литературе... Затем о ценах, о литературных новостях, обо всем подробно справится Сергей Яковлевич в Москве... Через него будете и выписывать... Ну, а как дворяне насчет помещения в дворянском доме?

– Есть надежды.

– Великолепно, крестный! Начинайте!

– Да ведь не разорваться же мне, – возражал батюшка. – Надо пока отложить, хотя ненадолго.

– Эх, досадно!.. Надо бы мне годок прожить здесь, так, приватно... Да ничего не поделаешь!.. Приходится отслуживать там, куда по-

шлют...

Дядя загрустил.

Переживая эту массу новых, неожиданно хлынувших на меня откровений и впечатлений, я действительно стал как будто понимать, что жизнь моих близких начинала круто изменяться, что жизнь и моего отца и многих других начинала «кипеть, как в котле», а я ничего не знал и не понимал во всем этом. Последний разговор отца и матери с дядей дал мне почувствовать это как-то особенно больно... Даже название меня «ребенком», когда мне шел уже четырнадцатый год, болезненно кольнуло меня. Мне стало стыдно и обидно за себя... А ведь в сущности это было справедливо: ведь я действительно не больше как уличный мальчик, ведь для меня еще городки дороже всякой «новой» гимназии, дороже всяких других интересов. Я даже из-за этих городков пропустил мимо ушей, как уже неоднократно отец с дядями обсуждали и решали важный вопрос об открытии в городе «нашей» библиотеки! Чем больше я об этом думал, тем больше начинал чувствовать себя каким-то отброшенным и от всего оторван-

ным... И чем дальше, тем будет хуже: через неделю опять гимназия, с которой у меня нет никакой духовной связи попрежнему; лишив меня разумной умственной дисциплины, она отняла у меня всякую возможность воспринять от нее в должной мере хотя бы то нужное и хорошее, что она могла дать... Отец будет «кипеть, как в котле» от разнообразных дел. Мать может только беззаветно любить, изливая эту любовь в бесконечных мелочных о нас заботах... Дяди разъедутся по разным местам, и у меня сразу обрывается всякая связь со всем тем «духовным», которое нынешним летом так оживляюще пахнуло на меня веянием какой-то новой жизни... И опять я заброшен один между гимназией и улицей... Нет, надо ехать с дядей... в «новую» гимназию!

Я долго еще колебался, но, наконец, решился побежать к деду, чтобы поговорить с дядей. Я долго вертелся около него, пока решился, покраснев, сказать ему то, что меня волновало.

– Дядя, возьмите меня с собой! – пролепетал я.

– А! ты уже обдумал? Не скоро ли? – спросил он, улыбаясь. – Смотри, не пришлось бы раскаиваться... Нет, теперь уж надо погодить... Ты знаешь, что сказала мамаша: надо прежде мне самому устроиться... И это верно. Надо подождать месяц-другой... Я огляжусь там... Тогда напишу... Бабушка хотела ко мне приехать... Вот если все будет у меня хорошо и мамаша тебя пустит, тогда ты ко мне с бабушкой и махнешь!..

Передо мною вдруг теперь раскрылись радужные перспективы и надежды, и я окрылел: я мог уже жить не одной нашей гимназией и улицей с городками, но и мечтой о «новой» жизни в «НОВОЙ» гимназии.

IV

Новая гимназия и «совсем новые» педагоги. – Их «нечто», подрывавшее корни старой системы. – Самокритика. – Литературные вечера и новые таинственные писательские легенды. – Одиночество номерной жизни и жгучие томления духа и плоти. Обратно на родину.

Дядя Александр скоро уехал. В гимназии формально начались f роки, но шли вяло. Ученики съезжались плохо. Я ходил и не ходил в гимназию, поглощенный своей мечтой. Духовная связь с гимназией, слабая и раньше, порвалась теперь даже формально. Месяц прошел быстро. Стали съезжаться семинаристы и студенты, направляясь в столицы. Пользуясь временным пребыванием у нас дяди Сергея и его товарищей, отец усиленно занялся с ними библиотечным вопросом: чуть не ночами сидели они за составлением каталогов для будущей библиотеки и обсуждением других частных дел. До меня опять никому не было дела, и я ходил, как потерянный, с ка-

ким-то лихорадочным нетерпением ожидая письма дяди Александра. Наконец, уехали и студенты и пришло давножданное письмо. Подробно содержания его я не знаю, так как отец читал его матушке наедине в кабинете, а я с замиранием сердца слушал за дверью, как матушка часто всхлипывала, что-то возражала и как долго убеждал ее в чем-то отец. Наконец, матушка вышла, утирая слезы и по обыкновению крестясь.

– Ну что ж, – сказала она, проходя мимо меня и погладив ласково по голове, – поезжай... Может, и лучше для тебя будет... Только единственно для братца Александра решаюсь... Для кого другого ни в жизнь не отпустила бы...

Через неделю я уже сидел опять в огромном тарантасе, между моей дородной бабушкой и каким-то толстым купцом-попутчиком, укачиваемый под «малиновый» звон колокольчика и наслаждаясь любимой картиной полей и лесов с попутными селами и деревнями. Через два дня мы уже были в городе Р. и в один праздничный день, утром, въезжали во двор гимназии, где в одном из флигелей, за-

нимал квартиру дядя.

Вероятно, увидав нас из окна, дядя стремительно бросился навстречу нам на крыльцо.

– И ты приехал? – вскричал он. – Вот молодец!.. И как это вы хорошо, маменька, сделали... Пойдемте, пойдемте! Сразу всех нас увидите.

Дядя, видимо, был очень доволен.

Прошло тому много лет, а я помню этот день с замечательной ясностью. В небольшом зале дядиной квартиры вокруг большого стола сидела оживленно беседовавшая за завтраком компания: четыре его молодых товарища-учителя и дородная фигура священника-законоучителя, с большой седоватой окладистой бородой и наперсным крестом. Представив всех их бабушке, дядя взял меня, растерявшегося и смущенного, за руку и комически-торжественно сказал:

– А это, господа, юный птенец, злосчастная жертва дикого коршуна, нашей педагогики... С этого момента он – наш общий питомец... Наша задача – отогреть его и воскресить в нем душу живую... Ну, не дичись!... Ступай здоровайся... подавай руку всем... Не бойся!

И все, улыбаясь, добродушно жали мне руку, и даже почтенный иерей захватил ее в обе пухлые свои ладони.

– А теперь садись... завтракай... Мы уже кончаем, – говорил дядя, кладя мне на тарелку кусок ростбифа.

Я сел, и вдруг все мое смущение прошло: на меня повеяло чем-то знакомым, близким... Все эти молодке, веселые, ласковые лица я где-то уже видал как будто... И все мне показалось так похожим на те оживленные компании молодежи, которые собирались в последнее время так часто в нашем доме... Неужели же все это «педагоги»?.. Меня не смущал даже сановитый законоучитель – столько в нем было знакомого мне неизреченного благодушия! Но не успел я еще оглядеть всех исподлобья беглым взглядом и приняться за завтрак, как вдруг раздался грубоватый голос бабушки.

– Александр!.. Да это что ж у вас такое?

– А что, маменька? – спросил изумленный дядя.

– Да ведь нынче, кажись, воздвижение... Что ж это иерей-то смотрит на вас?..

– А! это вы, маменька, насчет ростбифа? – добродушно расхохотался дядя. – Вы, маменька, не беспокойтесь... Я вас смущать не буду!.. Для вас, знаю, нужно другое... вот вместе с батюшкой...

– Да мне что... Я и до куска ни до какого не дотронусь... Поди еще и обедня не отошла... А вы вот зачем сами басурманите да еще ребенка смущаете?..

– Дорогая маменька, – серьезным тоном сказал дядя, – у нас на это есть свой, не легкомысленный, а глубоко выстрадавший взгляд, что христианская религия не в этих мелочах заключается, а в стремлении к чистоте душевной... А у нас везде все наоборот... Мы это уж по бурсе хорошо знаем... Не правда ли, батюшка? – спросил он.

– Вполне справедливо! – серьезно заметил тот.

– Ну, и попы... у вас! – сказала бабушка, подозрительно взглянув на почтенного иерея.

Тут уже не выдержал и сам батюшка и разразился добродушнейшим смехом.

– Ну, Бог с вами! Сами за себя на том свете и ответите, – проговорила бабушка.

– Вот это верно, дорогая маменька. Без насилия лучше... Где насилие, там нет истинной религии, – мягко заметил дядя.

– Мудрено говоришь... Заучились! – махнув рукой, уже добродушнее проговорила бабушка. – Налей-ка вот лучше чайку. Чего я в самом деле в чужой монастырь да со своим уставом затесалась. Простите, Бога для!..

– Вот так-то лучше, маменька! – весело вскрикнул дядя, вскакивая и обнимая старуху. – Ведь мы, право, не плохие люди... Вот поживете – увидите!.. Ну, Коляка, рассказывай же нам про свою гимназию. Нам, педагогам, все нужно на ус мотать, – заговорил он со мной. – Что же, ваш поэт-инспектор уже открыл секаторский сезон?.. Как это у вас там делается, расскажи. У нас таких представлений здесь, говорят, давным-давно слыхом не слыхать... Да, знаете, замечательный в своем роде тип – этот поэтический секатор! – обратился дядя ко всем. – Какова должна быть система, сумевшая выработать такой изумительный экземпляр!

И дядя с большим юмором стал рассказывать разнообразные сцены и анекдоты из бы-

та наших в-ских бурс – семинарской и гимназической, – вызывая то смех, то негодование среди своих товарищей. Бабушка опять было не выдержала, вступившись за репутацию своего родного города.

– Ну, маменька, – сказал дядя, – вы в это дело лучше уж и не вмешивайтесь! Тут мы вам уж ничего не уступим!..

Разговоры становились все оживленнее, пришел еще кто-то из знакомых дяде учителей, анекдоты и воспоминания из педагогических нравов «старого» времени так и сыпались одни за другими. Это все были для меня новые и новые откровения. Из моего недолгого пребывания в р-ской гимназии многое совсем стусебалось в моей памяти, но я никогда не мог забыть этот первый день, когда я впервые увидел этих «совсем новых» педагогов.

Прошла неделя, бабушка уехала, и я мог уже несколько оглядеться в новых условиях школьной жизни. Не помню, чтобы новая гимназия сразу поразила меня чем-нибудь особенно выдающимся. В ней, конечно, царила все та же пресловутая система схоластиче-

ского формализма, как и везде еще, но я не мог не чувствовать, что в этом формализме существовала здесь довольно значительная брешь. Хотя во главе гимназии стояли в сущности те же чиновники и проводили ту же мертвую систему, как и всюду в то время на Руси, но благодаря, быть может, случайной традиции, заложенной раньше кем-либо из руководителей школы, отличавшимся некоторым присутствием джентльменства в своей натуре, они не позволяли себе грубых форм применения ее: здесь действительно уже почти совсем не практиковались ни порка, ни затрецины, ни дранье вихров и ушей, а с учениками старших классов даже обращались на «вы». Вообще на всем школьном распорядке лежала печать хотя и чиновнической, но все же некоторой порядочности. А это имело в результате то, что в эту гимназию охотно шли новые, молодые педагоги, которые уже нередко несли с собою «нечто», подрывавшее и корни самой системы. «Нечто» это прежде всего заключалось в том, что они стремились во всем поступать просто, «по-человечески», отменяя все мертвенно-сухое, хо-

лодное и жестокое, что лежало в корне системы. Конечно, изменить всю систему, со всем ее несуразно тяжелым аппаратом, они не могли и мечтать, но личными отношениями они создавали все же атмосферу более терпимую, чем в разных тогдашних бурсах.

В новой гимназии я пробыл слишком короткое время, чтобы она сама по себе могла оставить прочный след в моем развитии. В общем, впечатления от нее остались у меня довольно смутные, и только воспоминания о кружке молодых педагогов, группировавшихся около дяди Александра, остались навсегда в моей душе соединенными с представлением о быстро промелькнувших моментах моей юной жизни, несомненно наложивших на нее свою печать. Но в чем именно сказалось это влияние, было бы очень трудно формулировать. Это был ряд мелких, повседневных, интимных впечатлений, которые незаметно пока для меня вливались в мою душу освежительной струей. Трое-четверо из молодых приятелей дяди сообща столовались у нас, приходили ежедневно завтракать и обедать и нередко собирались по вечерам. Все они, бод-

рые, жизнерадостные, оживленные, пережи-
вали первые дни медовых месяцев своей мо-
лодой жизни, откровенно и непринужденно
делясь друг с другом всем, что зарождалось,
бурлило и перерабатывалось в их молодых
умах, охваченных идеалистическим броже-
нием. И все это происходило на моих глазах, в
домашней обстановке, просто, по-человече-
ски и, конечно, не могло не поражать меня
прежде всего контрастом между теми пред-
ставлениями о педагогах, которые сложились
у меня почти с детства, и тем, что я видел
здесь. Уже одно было для меня поразительно,
как юные педагоги предавались с необыкно-
венным азартом педагогической «самокрити-
ке», не щадя ни самих себя, ни друг друга, ни
своих коллег. Эта самокритика всего чаще
происходила во время завтрака (в большую
перемену, когда собирались у нас же в квар-
тире) и за обедом, когда еще были особенно
свежи впечатления от только что окончен-
ных уроков, на которых я видел этих «новых»
педагогов, к моему изумлению, совсем, со-
всем такими же простыми, ласковыми, ис-
кренними и оживленными, как и дома. Мно-

гие из них, особенно юные и еще неопытные, часто делали педагогические «промахи» на своих уроках и предавались по этому поводу искреннему самобичеванию и покаянию. Мне особенно вспоминается учитель истории, худенький, низенький, почти еще юноша, в форменном фраке с фалдами чуть не до пят, в золотых очках на большом носу, на кончике которого вечно висела капелька, он был как-то мило-комичен и в то же время необыкновенно привлекателен своей юношеской непосредственностью и душевной чистотой. Лектор он был превосходный; когда он рассказывал урок, самые шаловливые школяры слушали его с увлечением; но он горько жаловался, что совсем не умеет задавать уроки, спрашивать их и оценивать познание своих слушателей, что он не умеет дисциплинировать их и они частенько «водят его за нос» (как откровенно признавался он). Но с историей дела могли быть еще поправимы.

Не то с русским языком. Особенно тяжелым испытаниям пришлось подвергаться в первое время дяде Александру. Схоластиче-

ская программа преподавания русского языка в то время царила еще всюду, и неимоверно трудно было примирить ее с преподаванием «по-человечески», при всем искреннем желании. В то время еще не существовало не только мало-мальски сносных учебников и пособий, но, повидимому, не были выработаны даже и самые методы более рационального преподавания. «Новым» педагогам приходилось все это вырабатывать самолично, на свой риск, опытным путем.

Особенно было трудно ведаться с младшими классами. Нелегко было заинтересовать маленьких школяров грамматической и синтаксической схоластикой, вкупе с славянским языком, при всем усердии сделать это по возможности по-человечески. Дядя буквально бился как рыба в этих схоластических сетях, связанный обязательным выполнением программы. А в то же время ученики старших классов, где взаимное понимание между ними и «новыми» педагогами устанавливалось скоро и легко благодаря живому интересу, который могло возбуждать в юных умах мало-мальски живое преподавание теории

словесности, истории и литературы, были в восторге от молодых педагогов и чуть не на руках их носили.

И вот все эти педагогические успехи и огорчения молодых педагогов служили постоянной темой оживленных бесед на наших общих завтраках и обедах, а также и вечерами, когда опять нередко сходились все у нас.

Эти вечера, однако, носили уже не такой специальный характер: на сцену выступала главным образом «литература»; приносили книжки, журналы, статьи, брошюры; читались какие-то таинственные «секретные записки», чьи-то объемистые, получаемые «с оказией» письма из-за границы и Сибири... из Петербурга и Москвы... Дядя обыкновенно позволял мне присутствовать в общей компании, но только вначале и не больше, как на полчаса-час, а затем старался предупредительно спровадить меня в мою комнату, советуя заняться приготовлением уроков и не развлекаться «посторонними вещами». Но как ни педагогично-предусмотрительно это было со стороны дяди, тонкие стенки перегородки довольно свободно пропускали ко мне много

очень интересных и совершенно новых для меня сведений. Так я узнал, что и дядя и некоторые из его товарищей стояли в очень близких отношениях к известным петербургским и московским литераторам, особенно из молодых, что некоторые из них очень умные и талантливые писатели и что сочинения их с большим интересом читаются всеми образованными людьми, но при этом прибавлялось, что они слишком «горячи», что открыто говорят «всю правду», что у них поэтому много врагов и что, пожалуй, им «не сдобровать»... Узнал я, что значит и это таинственное «не сдобровать»: не сдобровало уже и раньше много писателей, — многие из них, говорившие «всю правду», должны были бежать за границу, другие были отданы в солдаты, третьи были сосланы в Сибирь на поселенье и даже на каторгу, в рудники... Стоит только представить, что обо всем этом говорилось и читалось большею частью вполголоса, отрывками или полупонамеками, чтобы понять, в какой странной форме все это достигало моего сознания, какой ряд причудливых, легендарных образов создавался из этих обрывков в

моем воображении, которое уже хранило в своей глубине туманное отображение каких-то других столь же причудливых образов разных «мучеников» и «страстотерпцев», о которых в детстве мне так часто и столь же таинственными полупонамеками рассказывала религиозная легенда в кухонной избе нашего провинциального домика...

Я не хотел бы, однако, чтобы из этих слов читатели этих записок вывели преувеличенное представление о степени моего «разумения» в то время. Увы! эти легендарные образы, несмотря на весь свой трагический смысл, говорили пока моему сознанию не более, чем те чудовищно-фантастические сказки, которые я раньше выслушивал от своих нянек с таким трепещущим от ужаса любопытством: реальный смысл их был еще для меня недоступен. Несомненно, однако, что все это, полусознаваемое мною, складывалось на глубине моей души, неощутимо для меня формируясь в то сокровенное «святая святых», которое носит в своей груди каждое человеческое существо и с которым уходит в могилу.

А пока... пока властные стихии жизни про-

должали ткать таинственную паутину.

Прошло полтора-два месяца, как наши оживленные общие завтраки и обеды благодаря каким-то хозяйственным неудобствам (кажется, просто по непрактичности дяди и чересчур уже очевидной недобросовестности кухарки) должны были прекратиться, а затем все реже стали собираться и на наши интимные «литературные» вечера, так как и сам дядя стал все чаще уходить по вечерам из дома. Иногда он брал меня с собой в те семейные дома, где были мои сверстники, но чаще я оставался дома один, в сообществе прислуги, которая, пользуясь отсутствием дяди, устраивала у себя на кухне настоящие журфики с гимназическими сторожами. Начало сбываться то, что предсказывала моя матушка и перед чем действительно спасовал дядя: он был слишком молод, слишком сам еще хотел жить всеми «впечатлениями бытия», чтобы создать для меня подходящую обстановку, пожертвовав для моего воспитания всем своим молодым досугом. Сделать это он, конечно, был не в силах. Занявшись со мною час-полтора, он забрасывал меня «самыми интерес-

ными», по его мнению, книгами и затем оставлял одного, вполне уверенный, повидимому, что для меня было вполне достаточно того уже благотворного влияния, которое, по его мнению, должна была иметь на меня общая атмосфера «новой» гимназии. Но он ошибался. Меня, привыкшего к уюту семейной жизни и свободному раздолью ребячьей улицы, раздражала обстановка номерной жизни, я с каждым днем становился нервнее и недовольнее, во мне все сильнее росло чувство неудовлетворенности, которое было тем тяжелее, что оно было неопределенно и неуловимо. Я уже был накануне того критического переходного от отрочества к юношеству периода жизни, когда молодая натура бывает полна неясными, полусознанными, туманными и тем не менее необыкновенно властными порываниями и стремлениями, требующими того или иного исхода. В одиночестве такой исход бывает особенно роковым. Я был положительно окутан туманом неопределенных стремлений и искал и не видел для них исхода. Меня то охватывали религиозно-идеалистические экзальтации: я решал «отречься от

всего», уйти в келью, в монастырь и здесь посвятить себя «подвигу» или взять на себя какой-то «крест» и пуститься странствовать по святым местам, по далеким стогнам и весям, то вдруг вспыхивала во мне неудержимая страсть к «греховной» жизни, и я, весь пылая внутренне от стыда, припадал ухом к перегородке, жадно вслушиваясь в хихикающий шепот кухарки с ее кумом; то, наконец, подавленный всем ужасом греховности и низменности своих помышлений, я страстно искал спасения в создании в своем воображении идеально-чистого, «святого» образа девушки, при которой даже самая тень чего-либо «плотского» не могла быть терпима. Я был беспомощен. Дядя, повидимому, и не подозревал ничего подобного: ведь он дал мне для утешения такие интересные книги. Помню, между прочим, особенно рекомендовавшиеся в то время для детей «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, «Рассказы из русской истории» Ишимовой и т. п. Да, книги были действительно интересны, но это был внешний интерес для меня; они не могли ответить таинственным процессам моей души, как от-

вечала когда-то ласка матери, ее мистически-религиозные мечты и рассказы, фантастическая сказка няни, как отвечали еще недавно хотя и не во всем понятные для меня, но все же увлекающие, оживленные беседы у нас молодежи и те полутаинственные, полные трагического смысла легенды, к которым я прислушивался с такою жадностью... Нет, забитый схоластикой, мой ум не умел еще искать и находить в книге духовного друга, да и не подозревал о возможности этого. Новые товарищи? Но я не успел еще сойтись с ними, встретить среди них близкую по душе натуру. А дядя ничего не знал этого и не замечал, по крайней мере вначале, просто потому, что он сам весь был охвачен в этот момент тоже таинственной неопределенной мечтой, теми же властными стремлениями найти исход своим душевным томлениям в интимной ласке близкого друга, в слиянии с одиночествующей душой... Проще сказать, дядя был влюблен.

Как-то незадолго до рождественских каникул дядя вернулся вечером особенно оживленным и веселым. Он вынул из бокового

кармана фотографическую карточку и, вставив в рамку, поставил на письменный стол: это был портрет не особенно красивой, но с замечательно симпатичным лицом барышни.

– Коляка! – сказал он весело. – Это моя будущая невеста... Нравится тебе?

Я вспыхнул, как зарево. Вот лицо идеально-чистой, духовно-прекрасной девушки, при виде которой всякая грубая греховная мысль была бы преступна! Я уже вперед «обожал» ее. Меня как-то внезапно озарила, как молния, мысль, что, если бы я мог видеть и знать, как дядя, такое идеально-чистое существо и «обожать» его, я воскрес бы, и густой туман терзавших меня неопределенных стремлений рассеялся бы, как перед лучами солнца.

– А вы, дядя, познакомите меня с нею? – робко спросил я.

– Ну, конечно, не теперь только... После рождества разве...

– Это вы все к ней ходили?..

– Да... Влюблен, Коляка, влюблен... Да такую душу нельзя не полюбить! – восторженно сказал он, похлопывая меня по спине. – Вот

ты узнаешь после... А ты мне не нравишься, – прибавил он, всматриваясь в мое лицо, – ты худеешь, стал вялым... да и занятия твои идут неважно... Я уже давно стал замечать... Да, конечно, я виноват, кругом виноват... Оставил тебя без любви, без ласки... Этого ничто не может заменить...

И настроение дяди, как всегда, быстро изменилось на мрачное и печальное.

– Надо ехать... домой, к своим, – сказал он после долгого молчания и глубоко вздохнул. – Я прежде думал, что мы останемся здесь... Весело проведем праздники вместе... с тобой и друзьями... Нет, надо ехать... Там начались хорошие дела... И для тебя надо ехать... Ты оживешь у своих... А там посмотрим.

Через неделю я ехал опять на родину... чтобы уже никогда не вернуться сюда обратно.

Этот промелькнувший в моей юношеской жизни короткий эпизод, смутный в общем, запечатлелся в моей душе некоторыми отдельными моментами: так остаются дорогами и памятными навсегда моменты зарождения в душе первых чистых и возвышенных

представлений. Здесь впервые в мою душу были брошены семена той «второй легенды» – о высокой миссии писательства, которая, неощутимо и несознаваемо еще мною, духовно пленила меня.

Первые шаги на поприще духовного пре- Обращения. – Мой новый «храм».

Был ясный морозный день, когда мы с дядей, под веселое взвизгиванье полозьев, въезжали в нашу в-скую «большую улицу». Несмотря на прошедшие давние годы, я все же помню, что охватившее меня в то время настроение было какое-то новое, необычное, не испытывавшееся мною раньше; прежде всего оно было, несомненно, бодро и радостно, но не от того только, что я снова «дома», что сейчас опять буду в привычной обстановке, среди близких, а от чего-то другого, необычного, что поселилось в моей душе. И это «новое», раньше не испытанное, странно преображало все, что мелькало перед моими глазами: все эти старые знакомые улицы, старые церкви, дома, люди не были, однако, прежними, – все они перепутывались в удивительных сочетаниях с новыми людьми, зданиями, улицами, по которым я недавно ходил, и все это приняло вид чего-то как будто вновь окра-

шенного, омытого, веселого и бодрого... Вот мелькнула наша старая гимназия, и мне бросилось в глаза, что это не она, прежняя, а другая, заново выкрашенная, весело обливаемая яркими лучами солнца, что входившие и выходившие из нее лица были уже не прежние, вроде Аргуса или «поэтического» секатора, а какие-то иные, преображенные или совсем другие, те, которых я только что несколько дней назад видел так близко... А вот и дом дворянского собрания, с которым у меня благодаря судьбе соединилось столько отрадных и жутких впечатлений; вот и он мелькнул передо мною уже совсем «преображенным»: вместо прежней облезлой и тусклой желтой краски он блестел яркой белизной, новым вестибюлем и... и новой, как «с иголки», игравшей золотистым переливом и окаймлявшей полукруглый угол его фронтона вывеской: «В – ская публичная библиотека»! О, я уже теперь знаю, что это такое!.. Вот они, эти маленькие существа, которые попадают к нам навстречу в фуражках с красными околышами и которых обзывают так грубо «красной говядиной» и среди которых попался бы

и я раньше, – они и не подозревают, что это такое вдруг появилось на нашей Большой улице под этой невиданной раньше вывеской, какая удивительная тайна легенд скрывается под нею... Нет, я уже не тот, не «прежний», что был всего четыре месяца тому назад! И смутное ощущение этого «нового», что я нес теперь в своей душе, все то, что еще так недавно пережил я, как бурный бессознательный порыв тайных и жутких противоречивых душевных томлений, – все это сказалось теперь смутным сознанием зарождающейся возмужалости, сопровождавшимся своеобразным чувством тайной гордости.

С этим настроением я подъезжал к нашему маленькому домику, находившемуся вблизи окраин. Как нарочно, и он вдруг встал передо мной «преображенным», словно отвечал моим тайным ощущениям! Мне стало еще больше весело и радостно. Наш небольшой пятиоконный домик, который еще недавно оставил я покосившимся уже на один бок, с заросшей плесенью и местами продырявленной крышей, с тускло черневшими бревнами старых стен, теперь, – оби-

тый тесом, окрашенный свежеею охрой, с починенной крышей и даже с приделанным сбоку «парадным» крыльцом, – являлся поистине «преображенным», хотя и занесенным попрежнему глубокими сугробами до самых окон.

Выскочив из кибитки, я, как бомба, выражаясь по-школярски, влетел неожиданно в комнаты, и, наскоро сбросив теплое одеяние, наскоро поцеловав перепуганную матушку, залившуюся слезами от неожиданной радости, наскоро перечмокав мелюзгу – братьев и сестер, я, сопровождаемый, как свитой, этой щебечущей мелюзгой, быстро пронесся несколько раз по всем комнатам, ища всюду «преображения». Да, оно было и здесь: были выбелены потолки, двери и окна, стены были оклеены новыми дешевыми обоями, по которым так весело играли врывавшиеся в окна солнечные «зайчики», а в гостиной, которая была длиной в пять аршин, стояла новая «мягкая» мебель: диван, шесть стульев и круглый стол!.. Это было невероятно!

– Это все без тебя! Все без тебя! – щебетала вокруг меня мелюзга. – Очень папаша торо-

пился все отделать к зиме. У нас все разные гости собирались... Много гостей! А книг, книг сколько было... Целые ящики... Все разбирали... Теперь их увезли в собрание.

– Хорошо здесь стало! – воскликнул я с наивной радостью.

– Хорошо, Николенька, хорошо у нас дома! – подхватила, обрадовавшись, матушка. – А будет и еще лучше... Не хуже, чем в чужих местах... Может быть, и лучше будет на своей-то родине, – на что-то намекала она дяде Александру.

– Я очень буду рад за всех вас, сестрица, – несколько смущенно говорил дядя. – Я, конечно, немного виноват... Не сумел сделать многого или, лучше, не успел... Но все же я не сомневаюсь, Коля увидал и узнал кое-что новое и доброе... Это для него не пройдет бесследно...

Дядя продолжал беседовать еще с матушкой, а я уже опять натягивал теплое пальто.

– Теперь в библиотеку!.. Сережа, идем! – крикнул я брату. – Все там? И дядя Сергей и папаша?..

– Все, все!..

Матушка тщетно старалась меня удержать, чтобы «хоть немножко наглядеться» на меня. Через десять минут я с братишкой уже был в дворянском доме, в «нашей» библиотеке. В первой же комнате кипела работа; здесь были и отец, и дядя Сергей в студенческом мундире, и еще три-четыре студента из семинаристов; один распаковывал книги из тюков и ящиков, другие вписывали их в каталоги и сортировали, третьи наклеивали на корешки номера и ставили в шкапы... Как все это было весело, ново и интересно!.. Так замечательно свежо пахло сосной и масляной краской от новых шкапов, так ново было ощущать особый запах печатной бумаги, шедший от этих, так весело лежавших на столах в разноцветных новеньких сорочках, только что полученных стопок книжек... Как и дома, я было вихрем пронесся по всем комнатам, жаждая сразу захлебнуться новизной впечатлений; но тот торжественно-строгий покой, который окружал всех стоявших в шкапах новых таинственных обитателей этих больших комнат, как-то вдруг заставил меня сконфуженно притихнуть: я вспомнил, что я уже ведь знал

кое-что важное про этих таинственных обитателей... И я тихо и медленно, почти с благоговением и трепетом, как в церкви, стал робко всматриваться в новый окруживший меня мир явлений. Да, это было действительно что-то новое и необычное не только для меня, но и для громадного большинства обитателей нашего города. Оказалось, что это была не только библиотека, но целый музей, устроенный и с знанием дела и со вкусом. При очень скудных личных средствах отец сумел привлечь к делу сочувствие наиболее энергичной интеллигенции и при ее содействии сосредоточить здесь все то местное культурное богатство, которое до той поры, пренебреженное и заброшенное, терялось, как никому ненужное, по разным темным углам. Благодаря этому четыре больших комнаты оказались заполненными сверху донизу. Первая за конторой комната с длинным столом, покрытым зеленым сукном, играла роль читальни, а шкапы были наполнены современной, так сказать, «текущей», наиболее рассчитанной на спрос литературой; в следующей, в торжественном покое, из-за стеклянных рам смот-

рели увесистые фолианты в несокрушимых кожаных переплетах, содержавшие в себе произведения всех тех почтенных покойников от Ломоносова и Сумарокова до князя Шаликова и адмирала Шишкова, которых читатели любят «уважать», но очень редко читают. Это были археологические остатки кем-то основанной еще в тридцатых годах общественной библиотеки, давным-давно прекратившей свое существование; о ней помнили только старожилы да напоминали эти внушительные томы, которые были целые годы погребены в каком-то сыром архиве. И вот они опять увидели и свет, и солнце, и новых людей, а новые люди снова вспомнили произведения почтенных деятелей, любуясь на их переплеты из телячьей кожи, но не рискуя погружаться в их содержимое. Остальные две комнаты были заняты отчасти этнографическим, отчасти сельскохозяйственным музеем, представлявшим, кажется, довольно бессистемное собрание всевозможных предметов, но все же разнообразное и интересное настолько, чтобы привлекать публику для обозрения. Наконец, к довершению всего, в биб-

лиотечных комнатах, в простенках между окнами, на белых тумбах внушительно красовались большие гипсовые бюсты Пушкина и Гоголя и таких «великих людей», как слепой Гомер и большеголовый лысый Сократ, которые решительно ничего не могли говорить сердцу нашего ординарного обывателя и исключительно служили только для вящего его устрашения вместе с археологическими флиантами старой библиотеки.

Итак, вот какой новый «храм» был воздвигнут в то время у нас «преображенными» людьми, – храм, который надолго, хотя и «поверженный» вскоре, оставался для меня храмом, с которым меня навсегда связали интимные нити духовной жизни.

Меня уже на следующий день прикомандировали к библиотеке помогать старшим. Надо было торопиться все привести в порядок к предстоявшему после праздников экстренному дворянскому собранию, чтобы предстать во всем блеске перед очами «просвещенного сословия». Я был польщен необыкновенно и с азартом новопосвященного принялся за дело, вписывая с таким усер-

дием заглавия книжек в каталоги или наклеивая корешки номера, как будто я священнодействовал. Помню, что с таким же сознанием важности дела я священнодействовал, когда меня, десятилетнего мальчика, прикомандировали к алтарю помогать деду: с каким благоговейным трепетом подавал я тогда деду большую свечу во время выхода с евангелием или с дарами, держал «теплоту» во время причастия. И чуть ли не с таким же благоговейным трепетом я прикасался теперь к каждой книжке. Насколько, всего несколько месяцев назад, я был безнадежно равнодушен ко всякой книге, настолько теперь я, можно сказать, обожал тоже всякую книжку, без малейшего отношения к ее содержанию, точь-в-точь так, как я заочно обожал невесту дяди Александра... по одной фотографической карточке'. Такими парадоксальными скачками, но неудержимо совершалось мое собственное «преображение».

Не следует, однако, думать, что я теперь только и делал, что священнодействовал. Я далеко не был таким «пайнькой». Напротив, я с еще большим увлечением каждый вечер по-

свящал уличному спорту с моими прежними сподвижниками по этой части, тем более что я теперь в их глазах не был уже «прежним», а был герой, на целую голову переросший их всех, побывавший чуть ли не в Другой части света, о чем им и во сне не могло сниться. А одно священнодействие в библиотеке чего стоило в их глазах! Кто из них был еще другой, который бы удостоился так близко стоять к этому новому, таинственному храму? Кто мог им, кроме меня, передать о всех тайнах этого храма и «других стран света»? Таким образом, мало-помалу преображался и спорт нашей ребячьей улицы.

**Накануне освободительной битвы. –
Скрытый масон. – Обошщения «высшей» культуры.**

Начало нынешних рождественских каникул накануне 60-го года отличалось совершенно своеобразным характером. Наша семья вместе с близкими знакомыми была охвачена лихорадочной подготовительной деятельностью к чему-то далеко не-говорившему о близком праздничном отдыхе и покое. Отец, что называется, разрывался на части: никогда, кажется, не сваливалось на него столько обязанностей и забот, как в эти дни. Воспользовавшись приездом молодежи, он тотчас же сдал все устройство библиотеки в ее руки, забегая в нее только урывками. С раннего утра он уже бежал в дворянский дом, где в качестве временного секретаря дворянства и вместе смотрителя он следил за спешным приведением к концу обширного ремонта дома, долженствовавшего предстать перед ожидавшимся необычно большим съездом

дворянских депутатов во всем возможном блеске; в полдень он ехал к предводителю с кипой докладов, а затем в комитет по крестьянскому делу. Спешно пообедав, он уже бежал опять на частное собрание к Николаю Яковлевичу, а вечером долго беседовал с дядей Александром, читая какие-то обширные доклады с длинным рядом цифр, которые он писал по ночам. Нередко по вечерам же к нам забегал сам Николай Яковлевич, один или с кем-нибудь из знакомых дворян; не раздеваясь, они наскоро наводили какие-то справки, о чем-то шептались и с нервной торопливостью бежали опять куда-то или же так, нераздетые, просиживали за переговорами целые часы. И отец и Николай Яковлевич все время были в таком возбужденно-нервном настроении, в каком я их еще никогда не видывал. Очевидно, готовились события большой важности, смысл которых для меня был, однако, еще скрыт под таинственной завесой. Как-то, кажется в сочельник, уже вечером поздно прибежал Николай Яковлевич и с взволнованной торопливостью передал отцу пачку свежих брошюр.

– Уже готово? – спросил отец.
– Готово. Вот это для вашей библиотеки и для продажи.
– Так ничего и не изменили?
– Нет! – выразительно сказал Николай Яковлевич и, с отчаянной решимостью махнув рукой, убежал опять.

Отец ничего не сказал, но тотчас же спрята-
л брошюры в ящик стола и запер на ключ,
может быть обеспокоенный моим присут-
ствием.

Содержание этой брошюры, очень серьез-
ной, как тогда говорили, по опубликованным
данным, я теперь уже не помню; вероятно, я
если и читал тогда ее, то мало понял, так как
она была наполнена статистическими табли-
цами, в которых я тогда совершенно не умел
разбираться. Но это была та брошюра, кото-
рая подала повод к ожесточенной полемике
между представителями местного общества.
В ней были сгруппированы чрезвычайно рез-
кие выводы относительно экономического и
правового положения крепостных крестьян...

Спустя несколько месяцев после появле-
ния этой брошюры нашего экспансивного Ни-

колая Яковлевича уже не было в нашем городе...

Рождественские праздники продолжали проходить у нас в той напряженно-деловитой атмосфере, которая так не похожа была на прежнее неизреченно-благодарное настроение, с которым они проводились обыкновенно раньше.

Благодаря общему возбуждению, порожденному все более проникавшими вглубь провинции слухами о реформах, наш дом, особенно теперь, в свободное праздничное время, еще более чем прежде стал буквально осаждаться разнообразными обывателями глухой провинции – и дальними родственниками, и знакомыми из бедного сельского духовенства, и кое-кем из мелкопоместных дворян, и, наконец, совсем незнакомыми, преимущественно из крестьян «как мужеска, так и женска пола», которые шли и ехали к нам для «проверки» разных «слухов», тревоживших их своей настойчивостью и часто невероятностью. В объяснениях с ними, за частым отсутствием отца, приходилось принимать участие всем нам: и матушке, и дядям, и даже

иногда мне. Объясняться с ними приходилось мне, конечно, мало, ко слушал и наблюдал я их с большим интересом. Среди них было немало очень своеобразных личностей; некоторые из них были мне раньше хорошо знакомы, как давнишние посетители нашей кухни и излюбленные собеседники моей матери. Впоследствии образы их часто всплывали в моем воображении со всей их своеобразной поучительностью.

Между тем, чем ближе к Новому году, тем все больше наш город начал наполняться дворянами из уездов. Каждый день все новые возки, кибитки и старинные дормезы шестернями и цугами мчались по Большой и Дворянской улицам, развозя по гостиницам и знакомым домам дворянские семьи. Наш малонаселенный и скучный городок в этом случае оживлялся необыкновенно, а в этот год особенно. Немногочисленные гостиницы переполнялись быстро, магазины и лавки торговали так только один раз в три года, все чистые отделения гостиниц кишели гостями, которые за одну неделю окупали целый год. Портные и модистки изнемогали под бреме-

нем заказов. На улицах царило давно не виданное оживление. Дворянский дом с утра до вечера осаждался дворянами, заглядывавшими в него под видом разных «справок», главным образом с целью повидаться и побеседовать друг с другом, а так как их, до публичных собраний, в главные залы пока не пускали, то они, узнав о существовании библиотеки, целыми толпами стали «обозревать» ее, не столько интересуясь тем, что в ней есть, сколько возможностью покурить и поболтать с приятелями. Как ни интересно было для меня увидеть и наблюдать сразу такое множество разнообразных представителей передового сословия, но я был очень огорчен, когда в конце концов с началом депутатских заседаний мой «храм» был превращен в буфетную и раздевальню, а посетители совершенно забыли о его специальном назначении.

Наступил Новый год. Заново, роскошно, по тому времени, отделанные залы дворянского дома должны были впервые открыться для избранной публики: сегодня был назначен литературно-музыкальный вечер с танцами. Отец волновался уже с утра, так как предпо-

лагался «генеральный» обход всего дома предводителем с депутатами, а вместе и библиотеки. Отец, уходя, сказал, чтобы я и дядя Сергей приходили к двенадцати часам в библиотеку на помощь ему. Это меня тоже немало волновало, тем более что отец обещал взять меня на литературный вечер. До сих пор я никогда не присутствовал на светских торжественных собраниях, кроме довольно вялых и официально гимназических актов и единственного случая, когда нас, гимназистов, водили в дворянскую залу на угощение конфетами по случаю приезда какого-то высокого гостя.

Мы с дядей уже давно были на своем посту в библиотеке, когда, наконец, обойдя залы дворянского дома, предводитель с некоторыми депутатами и канцелярской свитой появился в библиотеке. Мне уже давно хотелось побольше узнать этого «таинственного» для меня предводителя, имя которого чуть не ежедневно упоминалось в нашем доме, а в наших интеллигентных компаниях его иначе не называли, как «старый» или «скрытый мавсон».

Вначале это прозвище меня мало интересовало, но когда по приезде нашем дядя Александр как-то, обращаясь к отцу, спросил: «Ну, а как же ваш скрытый масон поживает?» – я тут же пристал к нему за разъяснением. Хотя из кратких полупонамеков дяди я мог понять только, что наш предводитель когда-то, в очень давнее время принадлежал к какому-то «тайному недозволенному сообществу, распространявшему запрещенные сочинения», однако это меня сильно теперь заинтересовало. Так вот он каков, этот «наш» предводитель! Он, значит, тоже косвенно прикосновен к той легенде, тайны которой еще недавно только чуть раскрылись передо мной. Понятно, с каким нетерпением я ожидал его «увидать поближе», так как до сих пор я видел его только издали, когда он приезжал иногда в гимназию в качестве попечителя или присутствовал на гимназических актах.

Это был уже очень почтенный старичок, среднего роста, сутуловатый, высохший, как стручок, на необыкновенно подвижных тоненьких ножках, с головой, покрытой жидкими седыми волосами, которые он, повидимо-

му, старался причесывать «по-суворовски»; черты его бритого сухого лица, с таким же длинным сухим носом, были тоже чрезвычайно подвижны, а маленькие серые добродушно-острые глазки бегали с предмета на предмет, как мышата. Облаченный, как в ризу, в расшитый золотом дворянский мундир, с треуголкой подмышкой, он казался мне сначала комичным.

– Не правда ли, как это все хорошо? Что? А? Как это умно!.. А? Что? Неправда ли? А? Что? – быстро говорил он, перебегая глазами с одного спутника на Другого и переходя от шкапа к шкапу, когда отец давал ему объяснения.

– Благодарю, благодарю тебя, Николай Петрович, – говорил он отцу. – Ты мне удружил этим, как никогда... Да... А? Что?.. Я очень рад, что мог тебе помочь в этом... Давно, давно пора было!.. Не правда ли? А? А ведь вот, кроме него, никто этого не придумал... А? Что? – продолжал он сыпать своей любимой поговоркой.

– А это кто? – вдруг спросил он, нечаянно заметив меня спрятавшимся за бюст Гомера.

– Гомер, ваше-ство, – подсказал кто-то.
– Нет, нет... Вот кто это спрятался тут...
– Это, ваше-ство, мой старший сын, – сказал отец, извлекая меня, красного как кумач, за рукав из-за Гомера. – Мой помощник, – прибавил отец.

– Это твой помощник?.. А? Что?.. Ты понимаешь, мальчик, что это значит?! Помощник?.. А? Что?.. Понимаешь? – вдруг спросил он меня. – Ведь это твое счастье, мальчик, редкое счастье... Понимаешь?.. Ведь до твоего отца ничего здесь этого не было... Люби отца, люби и помогай ему всю жизнь... А? Что?.. – спрашивал он меня, ласково играя глазами и обращая ко мне ухо. Но я только в ответ краснел и пыхтел.

– Хорошо, очень хорошо!.. Благодарю тебя, Николай Петрович, еще раз... Ты очень удружил мне. Я рад, очень рад, что это устроилось при мне, – говорил он при уходе. – Это честь мне и вам, господа... А? Что? Не правда ли? – обратился он к депутатам.

Но я уже не слышал, что ему отвечала его свита за дверями. Я схватил фуражку и побежал домой, чтобы поделиться новыми впечатлениями.

чатлениями. Признаться сказать, мне «наш» маленький предводитель, этот «скрытый масон», очень тогда понравился, и я радовался при мысли, что именно он будет покровителем моего нового «храма». Но – увы! – я и не предполагал, что дни его предводительствования уже сочтены. Мне с ним, спустя несколько лет, пришлось снова видеться и даже беседовать, но уже совсем при иных условиях.

Как ни заинтересовала меня личность старого масона, уложенная, как в футляр, в дворянскую ризу, но мысль, что сегодня вечером я, мальчик уличного спорта, впервые буду присутствовать на «торжественном» собрании в честь литературы и искусства (так в моем воображении рисовался мне предстоящий литературно-музыкальный вечер), поглощала все мое существо. Я читал и без конца перечитывал афишу с таинственными для меня именами артистов. Еще раньше долетали до меня слухи, что «передовые» дворяне решили нынче устроить концерт с небывалой помпой, чтобы «подготовить настроение», что кто-то из них должен был «привезти» из

Москвы крупные артистические силы. И вот я был «там», в роскошном зале, сияющем от тысячи «калетовских» свечей в люстрах и канделябрах, переполненном разодетой дворянской публикой... Я слышал «знаменитого» комика Живокини, читавшего из Беранже и из «Горя от ума», слушал чарующие звуки скрипача-виртуоза, переливчатые трели «самодельных» певиц и певцов-любителей и «видел», как читал что-то «смешное» из Щедрина известный мне «передовой» дворянин, добродушный толстяк-юморист, часто бывавший у нас. О Щедрина я тогда не имел еще никакого понятия, кроме легенды об его ревизорстве, да слышал, как говорили, что чтение «из него» публично считалось тогда очень рискованным «либеральным» выступлением... Впечатление на меня было в полном смысле ошеломляющее... Это было для меня настоящей феерией... Моей юной души впервые коснулось обольщение блеском «высшей» культуры, и, Бог весть, сколько в этот вечер всколыхнулось в моей душе темных, еще несознательных стремлений, инстинктов, порывов... В сущности весь этот литературно-музыкаль-

ный вечер был, конечно, не больше как житейская мелочь, на которую мы привыкли смотреть с обыденной точки зрения, как на явления эфемерные и преходящие. Но сколько раз пришлось мне убеждаться, какое огромное значение могут иметь эти мелочи на дальнейшую судьбу иного юного существа. Нередко это влияние бывает более роковым и решающим в его жизни, чем иные крупные и трагические события, которые могут сильно поразить его временно, но не затронуть глубоко его внутреннего духовного существа.

VII

Генеральное сражение. – Старая гимназия и мои странствования в «величественном лесу», – Моя новая миссия и новое противоядие «всей системе».

Следующие дни я был еще весь под впечатлением этого феерического для меня вечера, а между тем вокруг меня разыгрывались события чрезвычайной важности в жизни и нашей семьи и многих других. На другой же день после концерта с утра начались заседания дворянских депутатов. Отец уходил рано и возвращался поздно, усталый и взволнованный. Обыкновенно его уже ожидали у нас дяди и кто-нибудь из знакомых, жаждавшие узнать из первых рук о ходе дела.

– Ну, теперь начинается! – однажды сказал, возвратившись, отец. – Я очень боюсь за Николая Яковлевича, его так разносят, что хоть не показывайся... Брошюру его читают нарасхват... Шум, гам, споры, чуть не до драки... Признаться, даже я не ожидал, что у нас так много еще крепостников. Завтра, поди, будет

генеральное сражение.

Что это предстояло за генеральное сражение, между кем и почему, я все еще понимал очень смутно, но меня снова охватило такое страстное желание опять увидеть роскошный дворянский зал, переполненный народом, такая жажда новых впечатлений, что я неотступно пристал к отцу взять меня завтра с собой «поглядеть хоть в щелку» на то, что происходит в собрании.

– Ну, хорошо, – сказал он, – приходи завтра в библиотеку... Там увидим.

Дворянский дом с вереницей подъезжавших к подъезду богатых саней и карет выглядел внушительно. Седой швейцар в маскарадном костюме, с булавой и в треуголке так угрожающе посматривал на кучеров и лакеев, оказался давно знакомым мне добродушным стариком-сторожем, который чуть ли не носил меня еще на руках; он, конечно, тотчас же милостиво отворил мне двери недоступного теперь для многих смертных святилища. Я быстро, как мышь, проскользнул между рядами лакеев в библиотеку, которая теперь, как я уже говорил, была закрыта для читате-

лей и превращена в раздевальню и буфет, а затем задним ходом поднялся наверх, в «парадные» комнаты, где отец и поместил меня около полуотворенной двери, ведущей в зал. Все то же, как и на концерте, все так же чинно и торжественно сидит публика, только ее меньше, и вся она во фраках и мундирах, да на эстраде за длинным столом вместо артистов блестел золотом шитых мундиров целый ряд важных дворянских особ... Кто-то что-то читал долго и утомительно... Кто-то что-то возражал... До меня долетали только смутные звуки... Но вот чтение стало прерываться какими-то возгласами, потом шиканьем... Потом вдруг как будто что-то сорвалось, и зал наполнился невообразимым шумом: громкие аплодисменты, шиканье, угрожающие крики, грохот стульев и топот ног – все перемешалось... Я ничего не понимал и как-то невольно, сгорая любопытством, просунул голову в дверь, как вдруг отец, заметив меня, взволнованный и бледный, схватил меня за руку и сказал: «Ступай домой... сейчас же!.. Больше тебе нечего здесь делать».

А вечером, когда собрались все наши, ожи-

дая с нетерпением возвращения отца, он, усталый и удрученный, сказал, вернувшись: «Ну, теперь шабаш!.. *Наш* старик окончательно заявил, что он уходит и больше баллотироваться не будет...» А затем он долго сообщал о том, как позорно вели себя крепостники, что никто этого не ожидал, что они чуть не сорвали все заседание, бросившись, схватив стулья, на передовых дворян и членов от правительства, что некоторые угрожали даже председателю, что старик был очень огорчен... Отец еще долго передавал эту эпопею «генеральной битвы»; между прочим, меня в ней тронуло то, что касалось «нашего старого масона», который почему-то особенно стал близок моему сердцу после знакомства в библиотеке, и мне казалось, что с уходом его должно было что-то круто измениться и в нашей семье.

Известия, принесенные отцом, действительно были очень тревожны, тем более что, как я узнал впоследствии, на этом роковом заседании был прочитан и доклад моего отца кем-то из передовых дворян (так как сам отец, не будучи дворянином, не имел права

читать его от своего имени), который очень не понравился большей части крепостников, знавших, что его одобряет и сам предводитель. Таким образом, судьба нашей семьи была близко связана с «старым масоном», в непосредственно близких отношениях к которому мой отец стоял три трехлетия. Все мы теперь с тревогой ожидали исхода дворянских выборов. Опасались, что крепостники проведут своего кандидата, но победили умеренные, выбрав в предводители добродушного «мягкотелого» дворянина, не способного ни на какую крупную инициативу и не желавшего круто порывать с традициями старого предводителя. Таким образом, все осталось как будто пока по-старому, только как-то вскоре таинственно исчез Николай Яковлевич, которого я встретил спустя уже более десяти лет, да старый масон ушел на покой. Но он был привязан к отцу и часто вызывал его к себе «побеседовать».

— Ведь мы сделали свое дело? Не правда ли? А? Что? — любил он повторять каждый раз, когда приходил к нему отец. — Ведь уж теперь этого дела не переделаешь? Как ты дума-

ешь? А? Что? Ну, я и рад... Я сделал свое дело... И мне пора на покой...

Так закончилась в нашем захолустье «освободительная битва» почти накануне 19 февраля.

Наконец, праздничное настроение в нашем городке стало стихать: дворяне разъезжались, а я с нетерпением ждал того дня, когда, наконец, мой новый храм освободится от дворянских шуб и бутербродов и я, наконец, снова начну в нем священнодействовать.

Наступил этот день, библиотека была открыта для публики, и я уже с утра с величайшим удовольствием поселился среди ее безгласных обывателей. Но в этот же день уезжал обратно в Р. и дядя Александр. Удивительное дело, во все каникулы никто из нас не обмолвился ни одним словом о «новой» гимназии и о моей обратной туда поездке, как будто я никогда в ней не бывал. И только теперь вдруг этот вопрос встал во всей его реальной наготе.

– Ну что ж, Коляка, поедешь со мной назад, – спросил меня дядя, когда я с необыкновенным интересом погрузился в разглядыва-

ния каких-то роскошных иллюстраций.

Я вспыхнул от неожиданности. Мне почему-то казалось, что этот вопрос давно решен.

– Нет, дядя, – твердо отвечал я, – я не поеду теперь.

– Ну, я так и знал, – сказал он, улыбаясь. – От добра добра не ищут. Так, что ли? Ну, прощай! – грустно прибавил он, целуя меня.

И мне вдруг так стало жалко и его и «новой» гимназии, что я чуть не расплакался и со слезами на глазах бросился ему на шею.

– Не плачь, – сказал он, – и в вашей гимназии скоро будет лучше. Помогай папе! Теперь перед тобой хорошее дело, – кивнул он на шкапы с книгами.

Вот и опять она, старая гимназия. После праздников, связав в узелок учебники, я двинулся по старой, знакомой дороге. Странное дело, теперь гимназия уже не вызывала во мне чувства какого-то полувраждебного, полубоязливого отношения, как прежде. Даже встреча с Аргусом, который ехидно сказал мне: «Что, брат, недолго усидел в хорошей-то гимназии? Должно быть, в гостях хорошо, а дома-то лучше», – не вызвала во мне обычно-

го раньше предчувствия чего-то гнетущего и пугающего: я даже как-то весело-снисходительно улыбнулся на его ядовитое приветствие, как будто он был не прежний Аргус, а его преображенный двойник. Да и все мне долгое время казалось двойственным. Когда я входил и садился в класс, мне казалось, что и товарищи, и учитель, и самая комната – все это прежние, старые, а как будто какие-то уже иные; все как будто то же, но и не то. Я долго еще путал имена и лица моих одноклассников и учителей: стоило мне закрыть глаза, и мне уже представлялось, что на кафедре сидит мой любимый «новый» учитель, юноша-историк с капелькой на носу, а не старый, весь пропахнувший нюхательным табаком «брюзга», душивший нас хронологией разных битв и походов и напечатанным на оберточной бумаге спекуляторским учебником книгопродавца Зуева. И даже этот самый «брюзга» стал казаться мне более добродушным и комичным, чем враждебно отталкивающим. И вот то, что внесла в мою душу новая гимназия «примиряющего», я бессознательно принес с собой и сюда.

Да и в атмосфере самой старой гимназии стали замечаться некоторые признаки «преображения»: заскорузлая кора старой системы, хотя медленно, стала местами подаваться и трескаться под напором новых веяний. Появились кое-какие новые учителя взамен старых, вроде француза парикмахерского типа и некоторых других; появились новые учебники. Положим, это были не Бог знает какие приобретения, а все же прогресс. Да и старички наши порасшевелились до того, что учитель истории изменил Зуеву, заменив его более современным, а учитель русского языка в четвертом классе прочитал «Старосветских помещиков», вызвав неописуемый восторг. Заметно было, что и экзекуций не производилось уже так часто и усердно, как раньше. Видимо, и наша бурса «прогрессировала по-своему», хотя и с великим трудом. Атмосфера рутинного, скучного и вялого продолжала висеть над ней еще беспросветно. При всем том «примиряющем», что внесла в мою душу новая гимназия, я, однако, еще и теперь не находил в старой гимназии того интимно-привлекательного, хотя бы в микроскопических до-

зах, что могло бы меня духовно связать с нею. Жизнь моя снова раздвоилась, но только теперь, вместо спорта ребячьей улицы, меня всецело пленила библиотека. Все, что было в гимназии, продолжало быть для меня чем-то чуждым, формальным, мертвенным; все, что трепетало первыми вспышками зарождающейся страсти к свободному духовному развитию, – все это было в моем «новом храме».

Но чем таким был для меня в то время этот новый храм? Я сравнил бы его с чудным величественным лесом, в котором в торжественном созерцательном покое, окруженные молодой веселой порослью, высились громадные колонны-деревья, унося к небу свои зеленые короны. И вот я в каком-то полусне, обвеянный грезами, блуждал по этому лесу почти без проводника, без компаса, не видя определенно перед собою ни дорог, ни тропинок.

Так целыми часами по вечерам сидел я в своем храме, блуждая как зачарованный в хаосе образов, проносившихся перед моими умственными очами. Для меня все было полно таинственных, поражающих откровений, и я безбоязненно и с чистой детской доверчиво-

стью переносился от какого-нибудь «Никлас – Медвежья лапа» и других романов Зотова к Шиллеру и Шекспиру и от Поль де Кока – к беллетристике «Современника».

Хорошо или дурно было для меня такое бесконтрольное блуждание среди бесконечного разнообразия образов, созданных человеческим воображением, я затруднился бы ответить определенно. Быть может, было лучше, что я воспринимал непосредственно все, что давал мне мой «храм», и тем навсегда охранил свой ум от узких пут того или иного руководства и привык выше всего ставить духовную независимость. Притом же я чувствовал, что мною инстинктивно руководило что-то, уже раньше заложенное в мою душу, какой-то таинственный путеводный огонек, при мерцающем свете которого я мог в большинстве случаев различать, что было достойно внимания и восторга или же индифферентного отношения. Несомненно, тут играли уже немалую роль те «легенды», которые с самых малых лет не переставали пленять в разнообразных вариациях мое воображение, таинственно и несознаваемо сохраня-

ясь в самых укромных уголках моей души.

Так или иначе, мой «новый храм», несмотря на мое бесконтрольное хозяйничанье в нем, был и остался в моей памяти в конечном счете исключительно источником чистых и возвышенных представлений.

Я по натуре, однако, не был исключительно созерцательным и замкнутым в самом себе; меня с самых ранних лет, несмотря на присущую мне тогда робость и застенчивость, всегда влекла к себе живая жизнь и люди. И вот, едва только я немного осмотрелся в своем новом храме, как уже у меня явилось желание прежде всего посвятить в его таинства своих сподвижников по уличному спорту. Не прошло и нескольких месяцев, как многие из моих товарищей были уже завербованы мною в «литературный союз».

Осуществилось это тем более легко и скоро, что большинство моих тогдашних товарищей было из семинаристов, на «вольных» квартирах которых, среди великовозрастных учеников, уже существовали такие «тайные» союзы (вся конспиративность которых заключалась лишь в чтении «светских», хотя бы и

самых благонамеренных, сочинений). В описываемые мною годы в семинарии вообще уже духовные запросы, как среди многих учителей, так и воспитанников, стояли значительно выше, чем в гимназии, где духовное развитие, за редкими исключениями, стояло на очень низкой степени; даже ученики старших классов почти не имели понятия об иных книгах, кроме схоластических учебников, если в их семьях не было собственных библиотек; о русской же классической литературе имели кое-какое смутное представление лишь по отрывкам из хрестоматии. Понятно, почему, едва только открылась наша библиотека, самыми первыми подписчиками в ней и наиболее усердными читателями и посетителями явились прежде всего учителя семинарии и семинаристы, а самыми редкими – гимназисты, хотя последние не подвергались за это репрессиям начальства, как семинаристы, которым вскоре было запрещено бесконтрольное пользование библиотекой. Это последнее обстоятельство неожиданно придало моей «просветительной» деятельности довольно широкие и своеобразные фор-

мы: как-то само собой я сделался неустанным поставщиком «тайной» духовной пищи для всех моих семинарских сверстников, алкавших и жаждавших ее. Это продолжалось во все последующие годы моего пребывания в гимназии, что, признаться сказать, приносило немало огорчений моему отцу, то получавшему строгие внушения и предупреждения со стороны высшего семинарского начальства, то узнававшему, что немало его книг было конфисковано этим начальством на руках юных читателей. У одного из инспекторов семинарии, за немного лет его деятельности, образовалась даже довольно порядочная библиотека, исключительно составленная из этих и других приобретаемых учениками «недозволенных» книг. Такие репрессии по части свободного чтения послужили только к усилению нашей энергии на поприще взаимного самообразования и большему умудрению нас в деле конспирации: спустя два года было уже положено начало существованию тайной семинарской летучей библиотеки, которая, кочуя по чердакам, подвалам и погребам обывательских домов, в течение многих

лет с большим успехом обслуживала духовные нужды целого ряда юных семинарских и гимназических поколений.

Так властные веления живой жизни создавали новое противоядие всему, что ломало и угнетало маленькую человеческую душу. Из этого источника мы начали пить с тою же беззаветностью, с какою недавно отдавались спорту ребячьей улицы. И было нам благо...

Примечания

О названиях и значении этих книг я узнал, конечно, после, как и о значении разных иностранных, модных в то время слов, которые часто упоминались в разговорах.

[^^^]